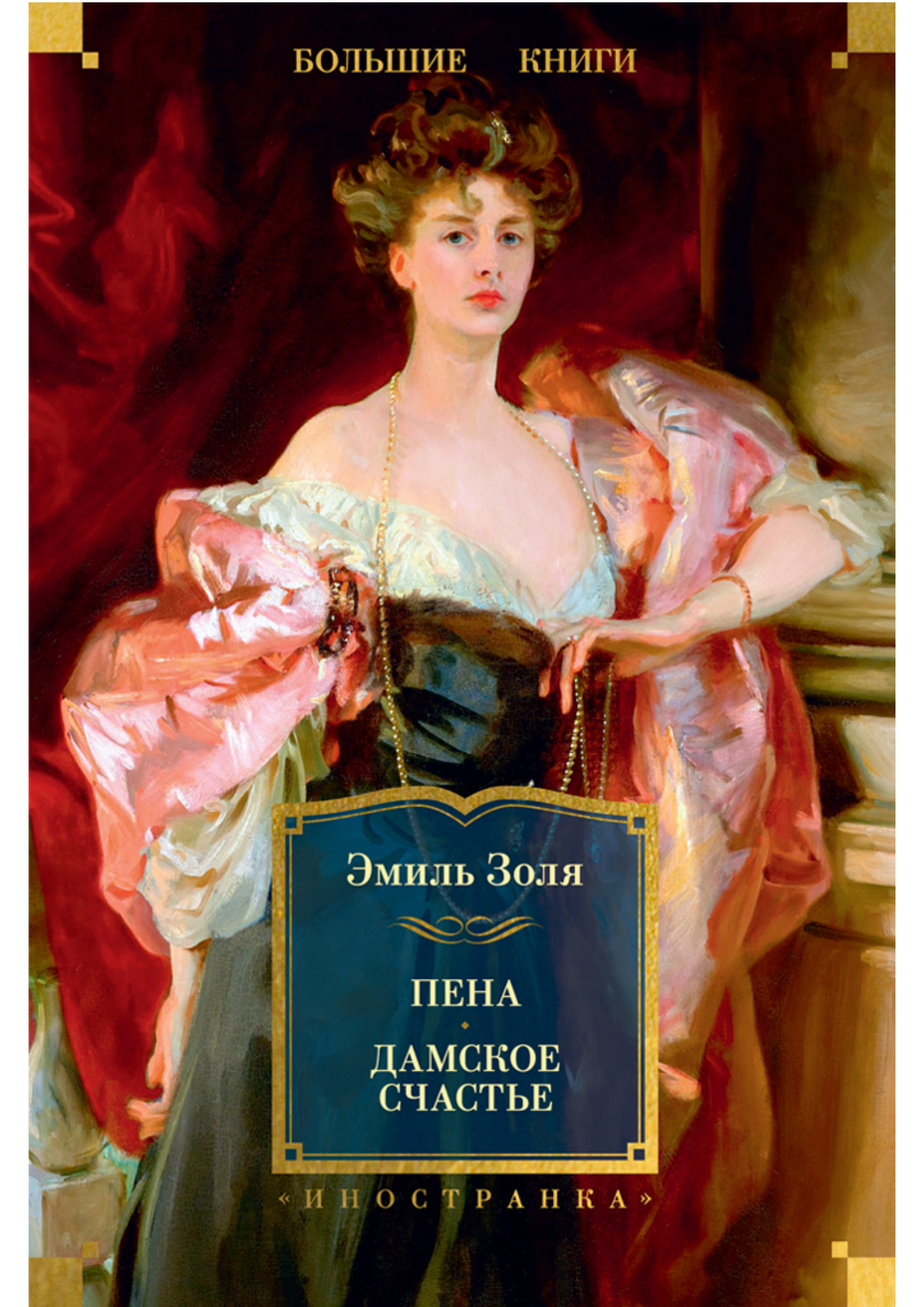


БОЛЬШИЕ КНИГИ



Эмиль Золя

ПЕНА
♦
ДАМСКОЕ
СЧАСТЬЕ

« И Н О С Т Р А Н К А »

Иностранная литература. Большие книги

Эмиль Золя

Пена. Дамское Счастье

«Азбука»

1882, 1883

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Золя Э.

Пена. Дамское Счастье / Э. Золя — «Азбука», 1882,
1883 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24866-3

Эмиль Золя – один из столпов мировой реалистической литературы, предводитель и теоретик литературного движения натурализма, увлеченный исследователь повседневности, страстный правозащитник и публицист, повлиявший на все реалистическое направление литературы XX века и прежде всего на школу «новой журналистики»: Трумена Капоте, Тома Вулфа, Нормана Мейлера. Его самый известный труд – эпохальный двадцатитомный цикл «Ругон-Маккары», распахивающий перед читателем бесконечную панораму человеческих пороков и добродетелей в декорациях Второй империи. Это энциклопедия жизни Парижа и французской провинции на материале нескольких поколений одной семьи, родившей самые странные плоды, – головокружительная в своей детальности и масштабности эпопея, где есть все: алчность и бескорыстие, любовь к ближнему и звериная страсть, возвышенные устремления и повседневная рутина, гордость, жестокость, цинизм и насилие, взлет и падение сильных и слабых мира сего. В это иллюстрированное издание вошли седьмой и восьмой романы цикла – глубинное погружение в жизнь парижских буржуа, панорама комичная, порой трогательная, но чаще страшная. Октав Муре, прагматик и ловелас, приезжает в Париж, где восходит на вершину, соблазняя женщин и внушая доверие мужчинам. Он наследует и расширяет магазин «Дамское Счастье» – его гордость, воплощение эффективного и циничного подхода к торговле и рекламе, – но весь этот ослепительный блеск меркнет, когда Муре знакомится с Денизой Бодю, скромной продавщицей, которая против воли завоевывает его сердце... Роман «Пена» публикуется в великолепном новом переводе.

УДК 821.133.1

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-24866-3

© Золя Э., 1882, 1883

© Азбука, 1882, 1883

Содержание

О порядке чтения цикла «Ругон-Маккары»	7
Пена	8
I	8
II	21
III	36
IV	51
V	63
VI	78
VII	94
VIII	110
IX	125
Конец ознакомительного фрагмента.	142

Эмиль Золя

Пена. Дамское Счастье

ПЕНА

Перевод с французского Ирины Волевич (главы I–IX) и Марии Брусовани (главы X–XVIII)

ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ

Перевод с французского Ирины Волевич (главы I–VII) и Елены Клоковой (главы VIII–XIV)

Émile Zola

POT-BOUILLE. AU BONHEUR DES DAMES

© И. В. Волевич, перевод, 2022, 2023

© М. И. Брусовани, перевод, 2023

© Е. В. Клокова, перевод, 2022

© Г. Г. Филипповский (наследник), иллюстрации, 1963

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

* * *

О порядке чтения цикла «Ругон-Маккары»

Работа над романами цикла «Ругон-Маккары» заняла у Эмиля Золя больше двадцати лет и не происходила линейно: за вычетом хронологически первого и последнего романов, созданных, соответственно, первым и последним, порядок появления частей цикла не всегда соответствовал хронологии описываемых событий. Традиционно цикл издается в порядке написания, однако в этом и дальнейших изданиях мы предпочли руководствоваться его внутренней хронологией. Такой порядок чтения сам автор описывает в финальном романе цикла «Доктор Паскаль» и, по утверждению Эрнеста Альфреда Визетелли, английского переводчика и друга Золя (см. критическую биографию *Émile Zola, Novelist and Reformer: An Account of His Life and Work* by Ernest Alfred Vizetelly, 1904, гл. XI), неоднократно рекомендовал на словах.

Карьера Ругонов (*La Fortune des Rougon*, 1871)

Его превосходительство Эжен Ругон (*Son Excellence Eugène Rougon*, 1876)

Добыча (*La Curée*, 1871–1872)

Деньги (*L'Argent*, 1891)

Мечта (*Le Rêve*, 1888)

Покорение Плассана (*La Conquête de Plassans*, 1874)

Пена (*Pot-Bouille*, 1882)

Дамское Счастье (*Au Bonheur des Dames*, 1883)

Проступок аббата Муре (*La Faute de l'abbé Mouret*, 1875)

Страница любви (*Une page d'amour*, 1878)

Чрево Парижа (*Le Ventre de Paris*, 1873)

Радость жизни (*La Joie de vivre*, 1884)

Западня (*L'Assommoir*, 1877)

Творчество (*L'Œuvre*, 1886)

Человек-зверь (*La Bête humaine*, 1890)

Жерминаль (*Germinal*, 1885)

Нана (*Nana*, 1880)

Земля (*La Terre*, 1887)

Разгром (*La Débâcle*, 1892)

Доктор Паскаль (*Le Docteur Pascal*, 1893)

Пена

I

Улица Нёв-Сент-Огюстен; плотное скопление экипажей не позволяло проехать фиакру, который вез Октава и три его чемодана с Лионского вокзала. Несмотря на довольно ощутимый послеполуденный холод этого ненастного ноябрьского дня, молодой человек опустил стекло дверцы экипажа. Его удивили ранние сумерки в этом квартале с тесными улочками, забитыми густой толпой. Грубая брань кучеров, которые хлестали фыркающих лошадей, нескончаемая толкучка на тротуарах, тесная череда магазинчиков, битком набитых приказчиками и покупателями, – все это привело Октава в полную растерянность: в мечтах он представлял себе Париж куда более благодетельным и не ожидал увидеть здесь такую грубую, настырную торговлю – казалось, город отдан на растерзание алчным завоевателям.

Кучер обернулся к седоку и спросил:

– Так вам в пассаж Шуазель?

– Да нет, на улицу Шуазель... Мне кажется, там есть новый дом...

Фиакру оставалось только свернуть, и вот наконец показался новый дом, второй от угла, – высокое пятиэтажное строение; его каменная облицовка еще сохраняла природный охристый оттенок, выделяясь на фоне блеклой штукатурки соседних старых фасадов. Октав вышел из экипажа и задержался на тротуаре, машинально оглядывая здание снизу вверх, от магазина шелков на первом этаже и в полуподвале до пятого, чьи окна отделяла от карниза узкая терраса. Балкон второго этажа с затейливыми чугунными перилами поддерживали головы каратид. Каждое окно окаймляли вычурные наличники, грубо вырезанные по шаблону, а внизу, над парадной дверью, два амурчика держали развернутый свиток с номером дома, который по ночам освещался газовым рожком.



Грузный светловолосый господин, выходявший из этого дома, остановился как вкопанный, заметив Октава.

– Как, это вы?! – воскликнул он. – А я-то вас ожидал только завтра!

– Прошу прощения, я выехал из Плассана днем раньше... – ответил молодой человек. – А что – моя комната еще не готова?

– Да готова, конечно готова! Я ее снял две недели назад и сразу же обставил, как вы и просили. Погодите-ка, я вас сейчас же устрою.

И он вернулся в дом, не слушая возражений Октава. Кучер выгрузил из экипажа три чемодана. В швейцарской стоял осанистый человек с длинным, гладко выбритым лицом дипломата, он просматривал «Монитёр». Тем не менее он сообразовал обратить внимание на багаж,

поставленный у двери, и, выйдя в вестибюль, спросил у своего жильца – «архитектора с четвертого», как он его называл:

– Господин Кампардон, это тот самый жилец?

– Именно так, Гур, это и есть Октав Муре, я снял для него комнату на пятом. Он будет там жить, а столоваться у нас... Господин Муре – друг родителей моей жены, рекомендую его вам.

Октав разглядывал вестибюль с панелями «под мрамор» и потолком, украшенным розетками. Мощный и зацементированный дворик в глубине дышал холодной чистотой богатого частного дома; в дверях конюшни сидел кучер, начищавший замшевым лоскутом упряжь. Казалось, в этот уголок никогда не проникает солнечный свет.

Тем временем Гур бдительно осматривал чемоданы Октава. Подтолкнув их ногой, он убедился, что багаж весит изрядно, и предложил вызвать носильщика, чтобы тот занес чемоданы наверх по черной лестнице.

– Мадам Гур, я выйду ненадолго, – крикнул он, обернувшись к ложе консьержа.

Она представляла собой небольшую комнату с чисто вымытыми окнами, красным цветастым ковром на полу и палисандровой мебелью; в глубине, через полуоткрытую дверь, был виден уголок спальни с кроватью под бордовым репсовым покрывалом. Госпожа Гур, тучная дама в чепце с желтыми лентами, полулежала в кресле, празднично сложив руки на животе.

– Ну что ж, пошли наверх, – сказал архитектор.

Он отворил дверь красного дерева, ведущую из вестибюля к квартирам, и, заметив, какое впечатление произвели на Октава небесно-голубые домашние туфли и черная бархатная ермолка господина Гура, добавил:

– Знаете, он был лакеем у герцога де Вожелада.

– Вот как! – отозвался Октав.

– Да-да, и вдобавок женат на вдове какого-то мелкого чиновника из Мор-ля-Виль. У них там даже свой домик имеется. Но они решили сперва накопить достаточную сумму, чтобы иметь три тысячи франков годового дохода, и тогда уж обустроиться там. А пока... это вполне приличные консьержи!

Вестибюль и лестница отличались крикливой роскошью. Внизу стояла женская фигура в наряде неаполитанки, сплюсн позолоченная, с амфорой на голове, откуда торчали три газовых рожка с матовыми абажурами. Стены были облицованы панелями из искусственного мрамора, белыми с розовой окантовкой; эта отделка повторялась на всем протяжении круглой лестничной клетки с перилами красного дерева и литыми стойками «под старинное серебро», украшенными позолоченными листьями. Красная ковровая дорожка, прижатая к ступеням медными прутьями, стелилась по всей лестнице, снизу доверху. Но больше всего Октава удивила поистине оранжерейная жара: едва он вошел сюда, как в лицо ему повеяло теплым воздухом из калорифера.

– Ну надо же! – воскликнул он. – Неужто здесь отапливают даже лестничную клетку?

– Разумеется, – ответил Кампардон. – Нынче все уважающие себя домовладельцы идут на такой расход... Этот дом превосходен, поистине превосходен...

И он вертел головой, пристально оглядывая стены со знанием дела, как опытный архитектор, и приговаривая:

– Вам будет здесь хорошо, дорогой мой, этот дом поистине великолепен... А главное, люди здесь вполне благопристойные!

И он начал перечислять жильцов, грузно поднимаясь по ступеням. На каждом этаже было две квартиры, одна окнами на улицу, другая – во двор; их двери из полированного красного дерева располагались справа и слева на лестничной площадке. Первым Кампардон назвал Огюста Вабра, старшего сына домовладельца. Этой весной тот открыл на первом этаже магазин шелковых тканей, заняв также и полуподвальное помещение.

Далее, на втором этаже, в квартире окнами во двор, проживал второй сын хозяина Теофиль Вабр с супругой, а в квартире окнами на улицу – сам домовладелец, бывший нотариус из Версаля, который, впрочем, расположился у своего зятя Дюверье, советника судебной палаты.

– А ведь этому молодцу всего лишь сорок пять лет! – воскликнул, остановившись, Кампардон. – Ну-с, как вам нравится?! Прекрасно, не правда ли?

Он поднялся еще на две ступеньки и, неожиданно обернувшись, объявил:

– Вода и газ во всех квартирах!

На лестничных площадках высокие окна в рамах с греческим орнаментом пропускали внутрь дневной свет; на каждой стояла узкая скамья с бархатной обивкой. Архитектор не замедлил разъяснить, что это сделано для пожилых людей, – таким образом, они могут передохнуть. Как ни странно, на площадке третьего этажа он прошел мимо дверей молча, не назвав жильцов.

– А здесь кто живет? – спросил Октав, указав на эти двери, ведущие в большую квартиру, занимавшую весь этаж.

– О, тут живут люди, которых никто не видел и не знает... Наш дом прекрасно обшелся бы без таких. Но что делать: даже на солнце есть пятна! – И Кампардон презрительно хмыкнул. – Кажется, этот господин пишет книги.

Однако на четвертом этаже к нему вернулось прежнее благодушие. Квартира окнами во двор была разделена на две половины; в одной жила мадам Жюзер («молодая женщина, очень несчастная»), в другой – некий весьма изысканный господин; он снимал комнату, куда приходил раз в неделю, для каких-то таинственных занятий. Продолжая свои объяснения, Кампардон отпер дверь квартиры напротив.

– Ну-с, а вот и моя обитель! – объявил он. – Пойдите-ка минутку, я зайду за вашим ключом... Мы сперва поднимемся в вашу комнату, а потом я познакомлю вас с супругой.

На несколько минут Октав, уже завороченный торжественным безмолвием лестницы, остался один. Он прислонился к перилам и почувствовал, как его окутывает теплый воздух, поднимавшийся снизу, из вестибюля; подняв голову, он пытался уловить хоть какие-нибудь звуки, однако наверху царила тишина – строгая тишина надежно изолированного салона, куда не проникал никакой шум извне. Казалось, за красивыми полированными дверями красного дерева таятся бездны благопристойности.

– У вас будут прекрасные соседи! – объявил Кампардон, появившийся с ключом в руке. – Во-первых, семейство Жоссеран: отец – кассир на фабрике хрустальных изделий Сен-Жозеф, у него две дочери на выданье; во-вторых, супруги Пишон, рядом с вами; глава семейства – мелкий служащий; это люди скромного достатка, но прекрасно воспитанные... Что поделаешь: приходится сдавать все до последней каморки, даже в таком доме, как этот.

После четвертого этажа красный ковер исчез, его сменила серая полотняная дорожка, и Октав почувствовал легкий укол самолюбия. До этого вид роскошной лестницы внушал ему гордость: он был глубоко польщен возможностью жить в таком благопристойном – по выражению архитектора – доме. Проходя за ним по коридору, ведущему к его комнате, Октав заглянул в приоткрытую дверь и увидел молодую женщину, стоявшую у колыбели. Услышав шаги, она встрепенулась. Это была блондинка со светлыми, пустыми глазами; он успел отметить только ее пристальный взгляд, так как женщина, внезапно покраснев, захлопнула дверь с видом человека, застигнутого врасплох.

Кампардон обернулся и повторил:

– Вода и газ на всех этажах!

Вслед за чем указал на дверь, расположенную рядом с черной лестницей, ведущей наверх, в комнатки прислуги. Остановившись перед этой последней дверью, он объявил:

– Ну вот и добрались!

Комната – квадратная, довольно просторная, с серыми в голубой цветочек обоями – была обставлена очень просто. Рядом с альковым выгородили уголок с раковиной, где можно было только помыть руки. Октав сразу направился к окну, откуда в комнату проникал зеленоватый свет. Внизу он увидел дворик – унылый, но чистенький, замощенный ровной плиткой, с водоразборной колонкой, чей медный кран ярко блестел на солнце. Но и там не было ни души, не раздавалось ни звука: одни только окна, одинаковые как на подбор, без птичьих клеток, без цветочных горшков, все укрытые за белыми занавесками. Чтобы хоть как-то украсить высокую глухую стену соседнего здания, замыкавшую двор слева, на ней намалевали фальшивые окна с опущенными жалюзи – чудилось, что за ними протекает та же потаенная жизнь, что и в квартирах этого дома.

– О, я прекрасно здесь заживу! – воскликнул очарованный Октав.

– Не правда ли? – подхватил Кампардон. – Клянусь Богом, я тут все устроил как для самого себя, в точности следуя инструкциям, которые вы мне давали в письмах... Стало быть, обстановка вам нравится? Тут есть все нужное поначалу для молодого человека. А дальше уж сами решите.

И поскольку Октав горячо благодарил Кампардона, пожимая ему руку и извиняясь за причиненные хлопоты, тот заговорил, уже чуть строже:

– Только учтите, мой милый, никакого шума, а главное, никаких женщин!.. Уж поверьте мне, если вы приведете сюда женщину, это будет настоящий скандал!

– О, будьте спокойны! – прошептал молодой человек, слегка смутившись.

– Нет, позвольте, я хочу вам объяснить: этим вы в первую очередь скомпрометируете меня... Вы видели дом – здесь живут солидные, приличные люди; между нами говоря, даже иногда чересчур щепетильные. Ни одного лишнего слова, никакого шума – ничего такого... А иначе Гур пожалуется господину Вабру – хороши же тогда будем мы оба! Итак, дорогой мой, настоятельно прошу вас, ради моего спокойствия, уважать обычаи этого дома.

Октав, проникшийся почтением к такому благонравию, горячо обещал подчиняться этим требованиям. А Кампардон, опасливо оглядевшись и понизив голос, словно его кто-то мог подслушать, добавил с хитрым огоньком в глазах:

– Вне дома – все, что угодно, там это никого не касается! Поняли? Париж достаточно велик, в нем всему есть место... Я-то сам в глубине души художник и плевать хотел на условности!

Тем временем на лестнице показался носильщик, тащивший чемоданы. Когда их водворили в комнату, архитектор с отеческой заботой подождал, пока Октав сполоснет лицо и руки, а затем, встав, объявил:

– Ну-с, теперь давайте спустимся, я вас представлю моей жене.

На четвертом этаже горничная, худенькая, чернявая кокетливая девица, объявила, что хозяйка занята. Кампардон, желавший, чтобы его молодой друг поскорее освоился здесь, и добавок воодушевленный собственными объяснениями, заставил Октава осмотреть всю квартиру: во-первых, просторную бело-золотистую гостиную с обилием лепных украшений, а затем маленький салон с зелеными стенами, который служил ему рабочим кабинетом; в спальню их не допустили, но хозяин описал ее как узкую комнату с лиловыми обоями. Затем он провел гостя в столовую, отделанную панелями под дуб с чрезмерным обилием резьбы и кессонным потолком. Восхищенный Октав вскричал:

– Боже, какая роскошь!

Правда, через кессоны на потолке проходили две широкие трещины, а в углу облупилась краска, обнажив гипсовую основу.

– Выглядит эффектно, вы правы! – медленно сказал архитектор, подняв глаза к потолку. – Понимаете ли, этот дом с тем и строился, чтобы производить впечатление... Вот только не стоит слишком внимательно приглядываться к стенам: со дня постройки не прошло и две-

надцати лет, а все уже осыпается... Зато фасад облицован благородным камнем и украшен скульптурами, лестничные перила покрыты тройным слоем лака, лепнина в квартирах раскрашена и позолочена, и все это льстит жильцам, внушает им почтение. О, этот дом простоит долго, он еще и нас переживет!

И он снова провел гостя через переднюю, куда свет проникал сквозь матовые стекла. Слева находилась вторая спальня, окнами во двор, отведенная его дочери Анжель; от белой комнатки в этот ноябрьский полдень веяло какой-то кладбищенской печалью. Дальше, в конце коридора, находилась кухня, которую хозяин также непременно желал показать гостю, объявив, что тот должен все здесь увидеть.

– Входите, входите же! – твердил он, отворяя дверь в кухню.

Но едва они вошли, как на них обрушился адский шум. Окно, несмотря на холод, было распахнуто. Чернявая горничная и кухарка – грузная старуха, – облокотившись на подоконник, смотрели вниз, в узкий внутренний дворик, куда выходили кухонные окна всех квартир. Они перекрикивали друг дружку, а снизу, со двора, им отвечали грубые голоса, перемежавшие слова наглым хохотом и бранью. Казалось, все сточные канавы города извергли сюда скопившуюся грязь; прислуга, выглянувшая из всех квартир, тешилась этой сварой. Октаву вспомнилось величавое спокойствие парадной лестницы.

Но тут обе служанки инстинктивно обернулись и в изумлении застыли при виде хозяина и незнакомого господина. Раздался легкий свист, окна мгновенно захлопнулись, и воцарилась мертвая тишина.

– Что тут случилось, Лиза? – спросил Кампардон.

– Опять эта неряха Адель... – ответила горничная, еще не остывшая от перебранки. – Она вывалила во двор кроличью требуху прямо из окна... Вы бы пожаловались господину Жоссерану.

Но Кампардон нахмурился и промолчал: ему не хотелось впутываться в эти дразги. И он снова повел Октава в свой кабинет, говоря по пути:

– Ну вот, теперь вы все увидали. Планировка квартир на каждом этаже одинакова. Я плачу за свою две тысячи пятьсот франков в год, хотя она на четвертом этаже! Квартирная плата растет как на дрожжах... Господин Вабр ежегодно выручает со своего дома примерно двадцать две тысячи франков. И это еще не предел – сейчас собираются проложить широкую улицу от Биржевой площади до Новой Оперы... А ведь участок под этот дом он приобрел за сущие гроши двенадцать лет назад, после большого пожара – он случился по вине служанки аптекаря!

Они вошли в кабинет, и Октаву тотчас бросился в глаза образ Девы Марии в роскошной раме, висевший над рабочим столом и озаренный ярким светом, лившимся из окна; в ее разверстой груди пылало огромное сердце. Он не смог сдержать удивления и оглянулся на Кампардона, которого знали в Плассане как насмешника и вольнодумца.

– О, я забыл вам сообщить, – сказал тот, слегка покраснев. – Меня ведь назначили епархиальным архитектором в Эврё. Жалованье, конечно, мизерное – каких-нибудь две тысячи франков годовых. Но и делать там особенно нечего, разве что изредка наведываться, а в остальное время за порядком присматривает мой инспектор. Главное, эта должность считается почетной – как-никак, «архитектор на государственной службе»; такое звание на визитных карточках производит впечатление. Вы даже не представляете, сколько заказов в высшем обществе мне приносит эта должность.

Говоря это, архитектор не сводил глаз с изображения Девы Марии и ее пылающего сердца.

– Честно говоря, – сознался он в приступе откровенности, – мне плевать на все эти сказки.

Октав рассмеялся, что встревожило Кампардона: с какой стати он откровенничает с этим юнцом? Покосившись на него, он состроил пристыженную мину и начал неуклюже оправдываться:

– Ну да, мне на все это плевать... хотя, с другой стороны... Ладно, признаюсь как на духу: я готов пойти на это! Да вы и сами скоро убедитесь, мой друг, – вот поживете здесь немного и заговорите точно так же.

И он заговорил о том, что ему уже сорок два, о пустом, бессмысленном существовании, изобразил меланхолию, так явно противоречившую его внушительной комплекции. Образ свободного художника с разметающейся шевелюрой и бородкой а-ля Генрих IV, который он стремился создать, никак не сочетался с низким лбом и квадратной челюстью ограниченного буржуа с его неутолимыми плотскими желаниями. В молодые годы он отличался несокрушимым жизнелюбием.

Взгляд Октава упал на номер «Газетт де Франс», валявшийся среди чертежей. И тут сконфуженный Кампардон позвонил горничной, чтобы узнать, освободилась ли наконец его супруга.

– Да, доктор уже уходит, мадам сейчас выйдет, – ответила та.

– А что, разве госпожа Кампардон хворает? – спросил молодой человек.

– Да нет же, все как обычно, – досадливо ответил архитектор.

– Но... тогда что же с ней?

Смущенный супруг уклончиво ответил:

– О, вы же знаете женщин, у них вечно что-нибудь да не ладится... У нее это тянется уже тринадцать лет, с самых родов... Но в остальном здоровье у нее крепкое. Вы даже сочтете, что она располнела.

Октав не стал выяснять подробности. В этот момент горничная вернулась в комнату и вручила хозяину чью-то визитную карточку; архитектор извинился и торопливо ушел в кабинет, попросив молодого человека побеседовать пока с его супругой, чтобы не скучать. Гость успел заметить в открытой и проворно захлопнутой двери, в центре бело-золотой гостиной черное пятно – сутану.

Но в этот момент к нему через переднюю вышла госпожа Кампардон. Октав с трудом узнал ее. Некогда, еще ребенком, он познакомился с ней в Плассане, в доме ее отца, господина Домерга, смотрителя дорог и мостов; в те времена это была тщедушная, невзрачная девица, в свои двадцать лет похожая скорее на незрелого подростка, со всеми приметами этого неблагоприятного возраста; сейчас перед ним стояла пухлая, волоокая особа со светлым, невозмутимым лицом монашки и ямочками на щеках, всем своим видом напоминавшая сытую кошечку. Ее, конечно, нельзя было назвать красавицей, однако она совершенно расцвела к тридцати годам и теперь источала сладкий аромат и свежесть сочного осеннего фрукта. Он отметил только, что она ходит с трудом, переваливаясь с ноги на ногу; на ней был длинный шелковый пеньюар цвета резеды, придававший ее облику еще большую томность.

– Да вы превратились в настоящего мужчину! – весело воскликнула она, протянув к нему руки. – Как же вы возмужали с тех пор, как мы в последний раз виделись в Плассане!

Она с удовольствием разглядывала рослого, красивого шатена с холеными усами и бородкой. Когда он назвал свой возраст – двадцать два года, – она снова воскликнула, что ему можно дать все двадцать пять!

А сам Октав, которого присутствие любой женщины, вплоть до последней служанки, приводило в восхищение, смеялся переливчатым смехом, лаская ее глазами цвета старого золота, мягкими, как бархат.

– Ну да, – томно отвечал он, – я вырос, я и впрямь вырос... А помните, как ваша кузина Гаспарина покупала мне шарики?

Затем он сообщил ей новости о ее родителях. Господин и госпожа Домерг счастливо живут в домике, где поселились на старости лет; единственное, что их печалит – это одиночество; они никак не могут простить Кампардону, что он, приехав в Плассан для каких-то работ, похитил их любимую Розу. Но молодой человек постарался перевести разговор на ее кузину Гаспарину; его по-прежнему снесало жгучее любопытство преждевременно созревшего подростка, вызванное историей, которую в те давние времена никто ему не разъяснил: внезапная страсть архитектора к Гаспарине – стройной красавице (увы, бедной), и неожиданный брак с худышкой Розой, за которой давали тридцать тысяч франков приданого; а дальше – бурная сцена со слезами, разрыв с семьей и бегство покинутой девушки в Париж, к тетке-портнихе. Однако госпожа Кампардон, чье безмятежное лицо сохранило свой бледный румянец, сделала вид, будто не понимает его. Октав так и не добился от нее никаких разъяснений.

– Ну а что ваши родители? – спросила она в свою очередь. – Как они поживают?

– Благодарю вас, прекрасно, – ответил он. – Матушка посвящает все свое время саду. Если бы вы увидели дом на улице Банн, то нашли бы его точно таким, каким он был при вас.

Госпожа Кампардон, которой, вероятно, трудно было долго стоять, присела на высокий чертежный стул, вытянув ноги под длинным пеньюаром; Муре придвинул поближе к ней низкое сиденье и теперь разговаривал, глядя на нее снизу вверх, с привычным для него видом почтительного восхищения. Этот молодой широкоплечий человек был наделен женской душой: он прекрасно понимал женщин и этим тотчас завоевывал их сердца. Не прошло и десяти минут, как они уже болтали, точно старые друзья.

– И вот теперь, как видите, я ваш пансионер, – говорил он, поглаживая бородку красивой рукой с тщательно отполированными ногтями. – Мы вполне уживемся, уверяю вас... Вы были так любезны, что вспомнили о мальчишке из Плассана и по первой просьбе занялись моим устройством!

На что она возразила:

– О нет, не благодарите меня. Я слишком ленива, почти не двигаюсь. Это все устроил Ашиль... Впрочем, как только моя мать сообщила нам, что вы хотели бы столоваться в семейной обстановке, мы сразу же решили открыть вам двери нашего дома. Таким образом, вам не придется иметь дело с чужими людьми, а нам будет приятно ваше общество.

И тут Октав рассказал ей о своих делах. Получив диплом бакалавра – лишь ради того, чтобы утешить родителей, – он провел три года в Марселе, в большой фирме, занимавшейся торговлей набивным ситцем, который производила фабрика, расположенная в окрестностях Плассана. Торговля стала его страстью – причем именно торговля предметами роскоши для женщин, основанная на соблазне, на постепенном завоевании женских сердец с помощью медовых речей и томных взглядов. И он рассказал, сопровождая свои слова победным смехом, как ухитрился, с чисто иудейской осторожностью, скрытой под внешним любезным простодушием, заработать пять тысяч франков, без которых ему никогда не пришло бы в голову рискнуть и приехать в Париж.

– Вы только представьте себе, у них был ситец с рисунком в стиле помпадур, настоящее чудо!.. Но никто и смотреть на него не хотел, так он и лежал там в подвале целых два года... А я в ту пору занимался продажами в департаментах Вар и Нижние Альпы и подумал: а не закупить ли его по дешевке, чтобы сбыть как свой собственный товар. Так вот, представьте себе, это был успех, сумасшедший успех! Женщины буквально рвали его из рук целыми рулонами; сейчас, я думаю, там нет ни одной, которая не носила бы платья из этого ситца... Должен признаться, я тогда здорово нажил на этих дамах! Все они принадлежали мне, я мог делать с ними что угодно.

И он смеялся от души, а госпожа Кампардон, уже покоренная, уже взволнованная мыслью об этом ситце «помпадур», жадно его расспрашивала. Что это за рисунок – маленькие

цветочные букетики на кремовом фоне, не правда ли? А ведь она именно такую и разыскивает повсюду для летнего пенюара!

– И вот так я разъезжал по стране целых два года, – продолжал Октав. – А теперь решил покорить Париж... И незамедлительно начну искать что-нибудь подходящее.

– Как, разве Ашиль вам еще не сказал? – ахнула мадам Кампардон. – Но он уже нашел вам место, в двух шагах от дома!

Октав пылко благодарил ее, дивясь своему везению и шутливо вопрошая, не найдет ли он у себя в комнате уже к вечеру жену и сто тысяч франков ренты. Но тут дверь отворилась, и в гостиную вошла девочка лет четырнадцати, долговязая и неказистая, с тусклыми светлыми волосами; увидев гостя, она испуганно вскрикнула.

– Входи, не бойся, – сказала госпожа Кампардон. – Это господин Октав Муре, ты ведь слышала, как мы с папой говорили о нем. – И, обернувшись к гостю, добавила: – Познакомьтесь, это моя дочь Анжель... Мы не брали ее с собой в нашу последнюю поездку – у нее такое хрупкое здоровье! Но вот теперь она понемногу выправляется.

Анжель с мрачной миной, свойственной подросткам в неблагоприятном возрасте, уселась позади матери, украдкой поглядывая оттуда на улыбчивого молодого человека. Вскоре вернулся и Кампардон, весьма оживленный, и, не удержавшись, коротко поведал жене о своей удаче: аббат Модюи, викарий церкви Святого Роха, предложил ему работу – на первый взгляд простой ремонт, но который может вылиться и в нечто большее. Впрочем, он тут же запнулся, вспомнив, что говорит в присутствии Октава, хлопнул в ладоши и объявил:

– Итак, чем мы займемся?

– Вы ведь, кажется, собирались уходить, – заметил Октав, – я не хотел бы вам мешать.

– Ашиль, – шепнула госпожа Кампардон, – что с этим местом у Эдуэнов?

– Ну конечно же! – вскричал архитектор. – Дорогой мой, это место старшего приказчика в магазине модных товаров. Я там знаю одного человека, и он замолвил за вас словечко... Так что вас там ждут. Сейчас еще нет и четырех часов – хотите, я вас тотчас представлю?

Октав колебался: его беспокоило, прилично ли он одет, правильно ли завязан галстук. Но госпожа Кампардон заверила его, что все в порядке, и он решился. А она томно подняла голову, подставив лоб мужу, который с наигранной нежностью поцеловал ее со словами:

– Прощай, кошечка моя... до свиданья, милочка...

– Не забудьте: мы ужинаем в семь, – сказала она, пока мужчины искали шляпы в передней.

Анжель неохотно вышла проводить их. Однако ее ждал учитель музыки, и через минуту они слышали, как она забарабанила худыми пальцами по клавишам, заглушая голос Октава, который задержался на минуту, рассыпаясь в благодарностях перед хозяйкой. Пока он спускался по лестнице, звуки пианино словно преследовали его в этом теплом безмолвии; им вторили, на всех этажах, другие фортепианные мелодии, приглушенные и благообразные, доносившиеся из-за массивных дверей квартир госпожи Жюзер, Вабров, Дюверье.

Выйдя из дому, Кампардон повернул на улицу Нёв-Сент-Огюстен. Он шел молча, с задумчивым видом человека, подыскивающего предлог для новой темы разговора.

– Вы помните мадемуазель Гаспарину? – спросил он наконец. – Нынче она заведует отделом в магазине Эдуэнов... Сейчас вы ее увидите.

Октав ухватился за этот вопрос, чтобы удовлетворить свое любопытство.

– Ах вот как! – воскликнул он. – Уж не живет ли и она в вашем доме?

– Нет-нет, как можно! – воскликнул архитектор, явно шокированный этим вопросом. Однако, увидев, что резкий отпор удивил молодого человека, он смущенно добавил чуть мягче: – Видите ли, они с моей женой больше не встречаются... Такое часто бывает в семьях... Я-то с ней виделся и решил, что нужно ее поддержать, тем более что бедняжка отнюдь

не богата. В общем, теперь они узнают друг о дружке лишь через меня... Эти старые семейные распри... видите ли, требуется время, чтобы затянулись раны.

Октав решил было порасспросить архитектора о его женитьбе, но тот перебил его на полуслове, объявив:

– Ну вот мы и пришли!

Магазин модных товаров располагался на углу улиц Нёв-Сент-Огюстен и Мишодьер; двери его выходили на узкую треугольную площадь Гайон. Большие золотые буквы на вывеске, скрывавшей два окна бельэтажа, гласили «*„Дамское Счастье“ основано в 1822*»; на стеклах витрин – прозрачных, без амальгамы, – можно было прочесть выписанное красным официальное название – «Делёз, Эдуэн и К°».

– Предприятие, конечно, не шик-модерн, но зато честное и основательное, – торопливо разъяснял Кампардон. – Господин Эдуэн, бывший приказчик, женился на дочери Делёза-старшего, который умер два года назад; таким образом, магазином управляют нынче молодые супруги, старый дядюшка Делёз и еще один компаньон, но мне кажется, что двое последних участвуют в деле чисто номинально... Вы сейчас увидите госпожу Эдуэн. О, это женщина с головой!.. Ну-с, войдемте.

Оказалось, что сам Эдуэн уехал в Лилль закупать холст. Их приняла его супруга. Она стояла в зале, с пером за ухом, отдавая распоряжения двум приказчикам, которые выкладывали на полки рулоны тканей. Госпожа Эдуэн, с правильными чертами лица и гладкими полукружьями волос, обрамлявшими лоб, со скупой улыбкой, в черном платье, на котором ярко выделялись простой белый воротничок и коротенький мужской галстук, показала Октаву такой высокой, такой величественно-красивой, что он, отнюдь не робкий от природы, тут даже забормотал что-то несвязное. Дело, однако, уладили в считанные минуты.

– Ну что ж, – спокойно сказала она, с привычной любезностью продавщицы, – раз вы теперь свободны, можете осмотреть магазин.

Она вызвала рассыльного и поручила ему Октава, потом вежливо ответила на вопрос Кампардона, что мадемуазель Гаспарина ушла по делам, и, отвернувшись, снова занялась делом, раздавая приказчикам короткие указания, мягко, но лаконично:

– Нет, не туда, Александр... Шелка сложите наверху... Это уже другой артикул, будьте внимательнее!

Кампардон, колебавшись, сказал наконец Октаву, что зайдет за ним позже, ближе к ужину. Таким образом, молодой человек целых два часа самостоятельно осматривал магазин. Он счел, что помещение скверно освещено и загромождено тюками и рулонами тканей, которые, не уместившись в подвалах, скапливались в углах торгового зала, мешая свободному проходу. Несколько раз он сталкивался с госпожой Эдуэн, по-прежнему занятой делами и ухитрявшейся так ловко пробираться между грудями товаров, что ни разу не задела их подолом платья. Казалось, это живая и властная душа предприятия, чей персонал беспрекословно подчинялся любому мановению ее белоснежных рук. Октава покорило то, что она больше ни разу не взглянула на него. Без четверти семь, когда он в последний раз поднялся из подвала, ему сказали, что Кампардон ждет его на втором этаже вместе с мадемуазель Гаспариной.

Там находился отдел белья, которым она заведовала. Молодой человек, поднимавшийся по лестнице, вдруг застыл как вкопанный на повороте, за штабелем аккуратно сложенных стопок коленкора: он услышал, что архитектор обращается к Гаспарине на «ты».

– Да я тебе клянусь, что это не так! – вскричал тот, забыв понизить голос.

Наступило короткое молчание.

– Как она себя чувствует? – спросила девушка.

– О господи, да у нее вечно одно и то же. То лучше, то хуже... Она прекрасно знает, что теперь у нас с ней все кончено. И уже не повторится.

Гаспарина прошептала с болью в голосе:

– Мой бедный друг, это тебя можно пожалеть... Ну что ж, раз уж ты сумел устроиться иначе... Передай ей, что я сочувствую; жаль, что она все еще хворает...

Но Кампардон, не дав девушке договорить, схватил ее за плечи и начал страстно целовать в губы, под газовым рожком, в теплом воздухе, особенно душном в этом низком помещении. Девушка в свою очередь поцеловала его, шепнув:

– Если сможешь, приходи завтра в шесть часов... Я буду ждать в постели. Постучи три раза.

Изумленный Октав только теперь начал понимать, что происходит; он кашлянул и вышел из своего укрытия. И тут его ждал другой сюрприз: Гаспарина высохла, стала какой-то угловатой, с жесткими волосами и землистым цветом лица, на котором выдавался вперед костлявый подбородок; от бывшей красоты остались одни лишь огромные, прекрасные глаза. Ее упрямый лоб и волевая складка чувственного рта ошеломили его так же сильно, как Роза, томная блондинка, очаровала своим поздним расцветом.

Гаспарина поздоровалась с молодым человеком учтиво, но без особой радости. Она вспомнила Плассан, заговорила об их прежней жизни. А на прощанье, когда они с Кампардоном спустились к выходу, пожала обоим руки. Стоявшая внизу госпожа Эдуэн коротко сказала Октаву:

– До завтра, сударь.

Выйдя на улицу, Октав, оглушенный грохотом фиакров и толчеей, все-таки не удержался и сказал, что хозяйка магазина очень хороша собой, но держится не слишком любезно. Яркие, освещенные газовыми рожками свежеукрашенные витрины магазина отбрасывали светлые квадратные блики на мостовую, тогда как старые лавки с их темными помещениями и чадающими лампами, тусклыми, словно далекие звезды, казались мрачными провалами в череде домов. Проходя мимо одной из таких лавок на Нёв-Сент-Огюстен, недалеко от поворота на улицу Шуазель, архитектор поклонился.

На пороге стояла молодая женщина, стройная и элегантная, в шелковом мантио; она удерживала за руку мальчугана лет трех, чтобы он не угодил под колеса экипажа, и болтала с пожилой простоволосой женщиной, без сомнения хозяйкой лавки, к которой обращалась на «ты». Октав не мог различить ее черты в этой полутьме, под пляшущими отсветами газовых рожков; она показалась ему хорошенькой, но он увидел только пару пламенных глаз, которые на миг обожгли его.

Лавка за ее спиной зияла, как темный сырой погреб; оттуда исходил смутный запах плесени.

– Это мадам Валери, жена Теофиля Вабра, младшего сына домовладельца, – я вам говорил, они живут у нас на втором этаже, – сообщил Кампардон, когда они прошли мимо. – Очаровательная женщина!.. Она и родилась в этой галантерейной лавке, одной из самых прибыльных в нашем квартале; ее родители – супруги Луэт – до сих пор торгуют там, лишь бы не сидеть без дела. И отнюдь не бедствуют, уж можете мне поверить!

Но Октав не одобрял такого вида коммерции в темных закутках старого Парижа, где вывеской издавна служил рулон какой-нибудь ткани. И он твердо решил, что ни за какие блага не станет ютиться в затхлой дыре, где легче легкого нажать ревматизм.

Так, за разговором, они поднялись по лестнице. Их уже ждали. Госпожа Кампардон принарядилась: надела серое шелковое платье, сделала кокетливую прическу и теперь выглядела изящной, холеной дамой. Кампардон поцеловал ее в шею, нежно, как любящий муж, приговаривая:

– Добрый вечер, кошечка моя... добрый вечер, душенька...

Все направились в столовую. Ужин прошел чудесно. Госпожа Кампардон сначала рассказала Октаву о Делёзах и Эдуэнах: к этим семействам относился с уважением весь квартал, здесь их прекрасно знали, – один из кузенов держал лавку канцелярских товаров на улице Гайон,

дядюшка торговал зонтами в пассаже Шуазель, племянники и племянницы устроились тут же, неподалеку. Потом разговор зашел об Анжель, застывшей в деревянной позе на своем стуле; девочка ела, неуклюже орудуя ложкой. Госпожа Кампардон сказала Октаву, что воспитывает ее дома, считая, что так надежнее; не желая распространяться на эту тему при дочери, она лишь многозначительно шурилась, давая понять, что в «этих пансионах» воспитанницы узнают много всяких гадостей. Тем временем ее дочь коварно подложила нож под свою тарелку, и Лиза, которая подавала на стол, чуть не разбила ее, воскликнув:

– Это все ваши проделки, барышня!

Анжель с трудом сдерживала приступ хохота. Госпожа Кампардон только укоризненно покачала головой и, когда служанка вышла из столовой, чтобы принести десерт, начала расхваливать ее: такая умница, такая работящая, истинная парижанка, так ловко со всем справляется. Они вполне могли бы обойтись без кухарки Виктории, дряхлеющей и теперь уже не очень-то чистоплотной, но она служила в доме еще в те времена, когда родился хозяин, и ее оставили здесь из уважения к старости. В этот момент вошла Лиза с блюдом печеных яблок, и Роза продолжала говорить, но уже на ухо Октаву:

– Эта девушка ведет себя безупречно. Мне пока не в чем ее упрекнуть... Она берет выходной только раз в месяц, чтобы навестить старую тетюшку, которая живет очень далеко отсюда.

Октав пригляделся к Лизе. И заподозрил, что эта девица – нервная, порывистая, плоскогрудая, с опухшими веками, – уж верно, недурно развлекается у своей престарелой тетки. Но при этом он одобрительно кивал хозяйке дома, которая продолжала делиться с ним мыслями о воспитании дочери: оно накладывает на нее такую тяжкую ответственность, дочь следует ограждать буквально от всего, а главное, от вредного влияния улицы. Тем временем Анжель всякий раз, как Лиза наклонялась к ней, чтобы сменить тарелку, щипала ее за ляжки с жестоким наслаждением подростка, хотя и у той, и у другой было при этом непроницаемое лицо, разве только обе моргали чаще обычного.

– Человек должен быть добродетельным ради себя самого, – назидательно объявил архитектор, словно делал вывод из собственных невысказанных мыслей. – Лично мне плевать на посторонние мнения, я вольный художник!

После ужина все засиделись в гостиной до полуночи. Это было из ряда вон выходящее нарушение обычного распорядка, в честь приезда Октава. Мадам Кампардон выглядела очень утомленной и время от времени задремывала, откидываясь на спинку дивана.

– Тебе нездоровится, моя кошечка? – заботливо спросил ее супруг.

– Нет-нет, – ответила она полголоса, – это все то же. – И, взглянув на мужа, тихо спросила: – Ты *ее* видел у Эдуэнов?

– Да, видел. Она спрашивала о тебе.

Глаза мадам Кампардон увлажнились.

– Уж верно, она-то чувствует себя прекрасно!

– Ну-ну, успокойся, успокойся! – приговаривал архитектор, осыпая легкими поцелуями волосы жены, словно забыв, что они здесь не одни. – Ты расстроишься, и тебе опять будет плохо. Не забывай, моя курочка, что я тебя обожаю!

Октав, который сперва из скромности отошел к окну, якобы желая посмотреть на улицу, обернулся и пытливо взглянул в лицо госпожи Кампардон; его мучило любопытство, он спрашивал себя: а *знает* ли она? Однако к Розе скоро вернулось привычное выражение кроткой, томной печали, и она свернулась клубочком в уголке дивана, словно женщина, привыкшая получать свою порцию мужниных ласк.

В конце концов Октав пожелал супругам спокойной ночи. Он еще стоял на лестничной площадке, со свечой в руке, как вдруг услышал шелест шелковых юбок, задевавших ступени.

Октав вежливо посторонился. Вероятно, это возвращались с вечеринки госпожа Жоссеран и ее дочери.

Проходя мимо молодого человека, мать – полная, представительная дама – пытливо взглянула ему в лицо; что касается дочерей, то старшая из них надменно прошла наверх, стараясь не задеть Октава, а младшая посмотрела на него с веселым изумлением, не скрывая улыбки, ясно видной при ярком огоньке свечи. Эта девушка, с задорной гримаской на светлом личике, каштановыми волосами, отливавшими золотом, и дерзкой грацией новобрачной, возвращавшейся с бала, была очаровательна, хотя ее наряд, с множеством бантиков и кружев, выглядел слишком пышным – девушки на выданье такого не носят. Их шлейфы исчезли за поворотом лестницы, и наверху захлопнулась дверь. А Октав все еще стоял на площадке, с улыбкой вспоминая веселый взгляд девушки.

Наконец он в свой черед медленно поднялся наверх. Его путь освещал один-единственный газовый рожок, еще горевший внизу; лестница дремала в душном тепле. Сейчас она казалась ему еще более внушительной, так же как и прочные двери из благородного красного дерева, за которыми скрывались добродетельные супружеские спальни. Сквозь эти двери не проникал ни один вздох, всюду царила благопристойная тишина: воспитанные обитатели дома не позволяли себе храпеть. Но вдруг Октав услышал шорох внизу и, перегнувшись через перила, увидел в вестибюле Гура, в домашних туфлях и ночном колпаке; консьерж гасил последний газовый рожок. Мгновенно все исчезло: дом погрузился в непроницаемую ночную тьму, в торжественное безмолвие всеобщего сна.

А Октаву долго еще не удавалось заснуть. Он беспокойно вертелся в постели, перебирая в памяти увиденные новые лица и спрашивая себя: отчего Кампардоны так любезны с ним? Уж не мечтают ли они позже выдать за него свою дочь? А может быть, Кампардон поселил его здесь, чтобы он, Октав, развлекал и занимал его супругу? И что за странная болезнь мучит эту бедную женщину? Вслед за тем его мысли и вовсе спутались, и перед ним прошла целая череда образов: малютка Пишон с ее светлыми, пустыми глазами; прекрасная госпожа Эдуэн в черном платье, сосредоточенная и серьезная; и Валери с ее пламенным взглядом, и мадемуазель Жоссеран с ее веселой улыбкой. Скольких женщин увидел он всего за несколько часов здесь, в Париже! А ведь он всегда мечтал о том, как прекрасные дамы возьмут его за руку и поведут по дороге делового успеха. И теперь ему мерещились все, кого он узнал за нынешний день; их образы преследовали его с пугающим упорством. Но он не знал, которую из них выбрать, с трудом пытался сдержать свой нежный голос и ласкающие движения. Потом, внезапно устав и придя в раздражение, уступил врожденной грубости и жестокому презрению к женщинам, таившимся под внешним, показным восхищением перед ними.

– Дадут ли они мне заснуть, наконец?! – вскричал он, резко повернувшись на спину. – Я возьму первую же из них, которая меня захочет, все равно какую, или всех разом, если им будет угодно!.. А теперь – спать, завтра будет новый день!

II

Госпожа Жоссеран вышла вслед за дочерьми из гостиной мадам Дамбревиль, жившей на пятом этаже дома, на углу улиц Риволи и Оратуар, и яростно захлопнула за собой дверь, дав наконец волю гневу, который сдерживала целых два часа. Ее младшая дочь Берта опять упустила жениха!

– Ну чего же вы ждете? – сердито спросила она девушек, которые медлили в подворотне, глядя на проезжавшие экипажи. – Идите пешком!.. И не надейтесь, что я найму фиакр! Я не собираюсь выбрасывать еще два франка, ни в коем случае!

Ее старшая дочь Ортанс пробормотала:

– Ничего себе – шлепать по такой грязи! Мои туфли развалятся вконец!

Услышав это, мать пришла в ярость:

– Идите, вам говорят! Когда у вас развалятся туфли, будете лежать в постели, вот и все. Стоит ли тратиться, чтобы вывозить вас в свет?!

Берта и Ортанс, понурившись, вышли из подворотни и свернули на улицу Оратуар. Они шагали, сутулясь и дрожа от холода под тоненькими бальными накидками, стараясь как можно выше подобрать пышные длинные юбки. Госпожа Жоссеран следовала за ними, кутаясь в старую, вконец облысевшую пелерину из беличьих брюшек, больше похожих на кошачьи. Все три были без шляп и прикрывали головы лишь тонкими кружевными шарфами; их пышные прически вызвали любопытство поздних прохожих, которые с удивлением смотрели, как эти дамы пробираются гуськом вдоль домов, сутулясь и глядя под ноги, чтобы не ступить в лужу. А мать разъярялась все сильнее, вспоминая о таких же прежних возвращениях за три прошедшие зимы, по черной уличной грязи, в помятых платьях, под хихиканье поздних гуляк. Нет, с нее довольно; пора наконец с этим покончить и не таскать больше этих девиц по парижским улицам, не позволяя себе роскошь нанять фиакр из страха, что назавтра придется сократить меню ужина!..

– И эта особа еще занимается сватовством, нечего сказать! – громко сказала она в адрес мадам Дамбревиль, не обращаясь к дочерям, единственно для собственного утешения, когда они свернули на улицу Сент-Оноре. – Собирает у себя кучу фифочек, набранных неизвестно где! Ах, если бы не надобность!.. И она еще хвастает своим последним успехом – этой невестой, которую затащила к себе, чтобы доказать нам, какая она умелая сваха, – хорошенький же она выбрала пример! Эту несчастную девчонку после скандала полгода продержали в монастыре, чтобы покрыть грех!

Девушки уже переходили через площадь Пале-Рояль, как вдруг хлынул жестокий ливень. Это была настоящая катастрофа. Они остановились на скользком тротуаре, не решаясь идти дальше и с надеждой глядя на пустые фиакры, катившие мимо.

– Идите, идите! – закричала их безжалостная мать. – Мы уже почти у дома, не стоит тратить сорок су на экипаж... Подумать только: ваш братец Леон не захотел идти с нами – видно, боялся, что мы заставим его платить! У него какие-то делишки с этой дамой – что ж, тем лучше, но уж поверьте мне, что там все нечисто. Женщина, которой давно за пятьдесят, принимает у себя только молодых людей! Ничтожная бабенка, а ведь как повезло: некий важный господин выдал ее за этого болвана Дамбревиля, за что и назначил его столоначальником!

Ортанс и Берта семенили под дождем, одна за другой, делая вид, что не слышат мать. Когда она утешала себя таким образом, без стеснения облегчая душу и забывая о правилах хорошего тона, которые навязывала дочерям, они по привычке притворялись глухими. Но сейчас, у поворота на темную, безлюдную улицу Эшель, Берта вдруг взбунтовалась.



– Ну вот! – воскликнула она. – У меня сломался каблук! Как я пойду дальше?

Мадам Жоссеран рассвирепела:

– А ну, идите сейчас же. Я вот иду и не жалею! А разве мне пристало брести по улицам в такое время, да в такую погоду?! Господи, хоть бы папаша ваш был приличным человеком, как другие отцы! Но нет, он преспокойно сидит дома да наливается вином. И никогда в жизни не согласится помочь – это я почему-то обязана вывозить вас в свет. Ну так вот, объявляю вам, что с меня хватит. Пускай ваш отец возится с вами, коли ему угодно выдать вас замуж; будь я проклята, если еще хоть раз повезу вас в такие дома, где меня смешивают с грязью!.. И этот человек похвалялся своими талантами, наплел мне с три короба... а я до сих пор расплачиваюсь за свою ошибку! О господи боже мой! Знай я все это заранее, ни за что не вышла бы за него!



Ее дочери уже не спорили: они наизусть знали нескончаемые жалобы матери по поводу ее разбитых надежд. Все три торопливо шагали по улице Сент-Анн; кружевные шарфы липли к их щекам, туфли промокли насквозь. Вдобавок на улице Шуазель, уже рядом с домом, госпожу Жоссеран подстерегало последнее унижение: экипаж возвращавшегося семейства Дюверье обрызгал ее грязью.

И только на лестнице мать и обе дочери, измученные и озлобленные, вновь обрели достойную осанку, когда им пришлось пройти мимо Октава. Однако едва за ними захлопнулась дверь, как они бросились через всю квартиру, натываясь на мебель, к столовой, где Жоссеран что-то писал при тусклом свете небольшой лампочки.

– Опять не вышло! – вскричала госпожа Жоссеран, рухнув на стул.

Она разъяренно сорвала с головы кружевной шарф, сбросила на спинку стула меховую накидку и осталась в своем платье огненного цвета, с черной атласной отделкой и низким декольте, открывающем все еще красивые плечи, похожие сейчас на лоснящиеся бедра кобылицы. Ее квадратное одутловатое лицо со слишком большим носом выражало трагическую ярость королевы, с трудом сдерживающей гнев, чтобы не разразиться грубой бранью.

– Вот как? – промямлил Жоссеран, подавленный этим неожиданным объявлением.

Он испуганно хлопал глазами. Жена неизменно пугала его, когда обнажала свой мощный бюст; бедняге так и чудилось, что эта лавина плоти вот-вот обрушится на его голову. На нем был старенький сюртук, который он донашивал дома; лицо, блестевшее от пота, поблекло, словно его краски стерла тридцатипятилетняя служба в канцелярии. С минуту он горестно глядел на жену большими голубыми, уже выцветшими глазами. Потом, заправив за уши вьющиеся полуседые волосы и так и не найдя с ответом, попытался вновь приняться за работу.

– Вы что, не поняли меня?! – гневно вскричала госпожа Жоссеран. – Я вам повторяю: нас вновь постигла неудача, а ведь это уже четвертая попытка!

– Да-да, я помню, четвертая... – пробормотал ее супруг. – Это прискорбно, весьма прискорбно...

И чтобы не смотреть больше на пугающую наготу жены, он с ласковой улыбкой повернулся к дочерям. Они также освободились от своих кружевных шарфов и бальных накидок – голубой у старшей и розовой у младшей; платья девушек, чересчур смелого покроя, с чересчур вычурной отделкой, выглядели на них слишком вызывающими. Старшей, Органс, с ее желтым лицом, которое вдобавок портил материнский нос, придававший ему выражение упрямого пренебрежения, недавно исполнилось двадцать три года, а выглядела она на все двадцать восемь; Берта, двумя годами младше, пока еще не утратила юную прелесть. Она унаследовала от матери те же, но более тонкие черты и, кроме того, могла похвастаться идеально белой кожей, так что лицо ее огрубеет не ранее чем к пятидесяти годам.

– Ну и когда же вы удостоите нас взглядом, всех трех? – вскричала госпожа Жоссеран. – Ради бога, оставьте свою писанину, это действует мне на нервы!

– Не могу, моя дорогая, – мягко ответил ее супруг, – я заполняю бандероли.

– Ах, скажите пожалуйста! Он, видите ли, заполняет бандероли, по три франка за тысячу!.. Уж не на эти ли три франка вы надеетесь пристроить своих дочерей?!

И в самом деле, стол, едва освещаемый скудным светом лампочки, был завален широкими лентами серой бумаги с печатными строчками, которые шли с интервалами; вот эти-то пропуски Жоссеран и заполнял от руки для одного крупного издателя, выпускавшего множество периодических изданий. Поскольку жалованья кассира на жизнь не хватало, он занимался этой неблагодарной работой целыми ночами, тайком от посторонних, стыдясь выдать свою бедность.

– Что ж, три франка – тоже деньги, – устало ответил он. – Они позволяют вам покупать ленты к вашим платьям и угощать пирожными гостей по вторникам.

Впрочем, он тут же пожалел об этих словах, поразивших его супругу в самое сердце и ранивших ее гордость. Она залилась краской со лба до низкого выреза платья и, казалось, уже готова была излить свою ярость в жестоких попреках, однако все же сдержалась, пробормотав только:

– О господи боже мой!..

И, презрительно передернув могучими плечами, взглянула на дочерей, словно желала сказать: «Вы слышали что-нибудь подобное?! Какой идиот!» На что обе девушки молча кивнули. А их отец, признав свое поражение, нехотя отложил перо и развернул «Газетт де Франс», которую приносил каждый вечер из своей канцелярии.

– Сатюрнен спит? – сухо спросила госпожа Жоссеран об их младшем сыне.

– Давным-давно, – ответил ее муж. – И я уже отослал Адель... А что Леон, вы видели его у Дамбревилей?

– Еще бы! Он ведь там и ночует! – бросила его супруга, не совладав с яростью.

На что ее удивленный супруг наивно переспросил:

– Ах вот как? Ты полагаешь?..

Ортанс и Берта сделали вид, будто не слышат. Однако между собой они обменялись легкой усмешкой, притворившись, будто всецело заняты своими туфлями, пришедшими в плачевное состояние. А супруга, решив сменить тему, нашла новый предлог для претензий: она ведь требовала, чтобы он каждое утро уносил из дому эту свою газетенку: нечего ей валяться в квартире весь день, как это было, например, вчера, а там напечатали отчет об одном гнусном судебном процессе, – ведь дочери могли его прочесть! Вот оно – доказательство его безнравственности!

– Ну что, неужели нам так и идти спать на пустой желудок? – спросила Ортанс. – Я ужасно проголодалась.

– Вот именно, – подхватила Берта, – я так просто умираю с голоду!

– Как это – вы голодны? – возмутилась госпожа Жоссеран. – Вы что же, ничего там не ели, даже пирог? Вот дуры бестолковые! Где же еще и есть, как не в гостях?! Уж я-то поела.

Но девушки не унимались, жалуясь, что хотят есть, им дурно от голода. В конце концов мать отвела их на кухню – проверить, не осталось ли там чего-нибудь съестного. Едва они вышли, как отец семейства снова боязливо взялся за свои бандероли. Он прекрасно знал, что без этого приработка роскошный образ жизни его семейства невозможен, а потому, невзирая на ссоры и несправедливые обвинения супруги, упорно занимался до рассвета своей тайной работой; этот достойный человек наивно полагал, что какой-нибудь лишний клочок кружева поможет дочерям найти себе богатых женихов. Семья уже урезала себя в питании, однако на туалеты и на вторичные приемы гостей денег все равно не хватало, и он решился взять эту каторжную работу, просиживая ночи напролет, в обносках, пока жена и дочери развлекались в чужих гостиных, принаряженные, с цветами в волосах.

– Господи, какая вонь! – воскликнула госпожа Жоссеран, войдя в кухню. – Когда же я добьюсь от этой неряхи Адель, чтобы она оставляла на ночь окно приоткрытым?! А она, видите ли, заявляет, что к утру кухня выхолаживается!

С этими словами она отворила окно, и снизу, из тесного внутреннего двора, в кухню тотчас проник холодный сырой воздух, пропитанный затхлой вонью подвальной плесени. Свеча, которую держала Берта, отбрасывала на стены гигантские тени женщин с обнаженными плечами.

– А грязь-то какая! – продолжала госпожа Жоссеран, принявшись шарить по углам. – Похоже, она не мыла стол для готовки уже две недели... Смотрите, вон тарелки с позавчерашнего обеда! Нет, ей-богу, это просто мерзость!.. А раковина... вы только понюхайте, как она пахнет, эта раковина! – вскричала она, гневно расшвыривая посуду руками в золотых браслетах, белыми от рисовой пудры, и волоча по заляпанному полу шлейф своего огненно-красного платья, который задевал стоявшие на полу кастрюли и овощные очистки, пачкавшие ее роскошный, тщательно продуманный туалет.

В конце концов вид щербатого ножа привел ее в совершенную ярость.

– Я завтра же утром вышвырну ее за дверь!

– И напрасно! – спокойно возразила Ортанс. – Тогда у нас вообще никого не останется. Это первая служанка, которая продержалась в доме три месяца... А все остальные, кто хоть как-то соблюдал чистоту и умел готовить соус бешамель, тотчас брали расчет.

Госпожа Жоссеран прикусила язык. Дочь была права: одна только бестолковая, вшивая Адель, приехавшая из Бретани, могла кое-как прислуживать в этом нищем, но тщеславном добропорядочном семействе, где ее держали в черном теле, пользуясь ее темнотой и нечистоплотностью. Сколько раз, увидав гребень с оческами, лежащий на хлебе, или отведав мерзкое рагу, от которого начинались колики, хозяйка собиралась уволить Адель, но в конечном счете смиралась, ибо заменить ее было нечем: даже самые вороватые служанки и те отказывались наниматься в этот дом, где хозяйка считает куски сахара.

– Что-то я ничего не нахожу, – пробормотала Берта, обшаривая шкаф.

И в самом деле, полки были прискорбно пусты, свидетельствуя о тщеславии этого семейства, где питались мясными обрезками, лишь бы поставить на стол цветы, когда приходят гости. Там нашлись только фарфоровые тарелки с золотой каемкой (увы, пустые!), щетка для сметания хлебных крошек со стола, с облезлой посеребренной ручкой, судки с засохшими потеками масла и уксуса, а больше ничего – ни забытой корки, ни крошки десерта, ни фруктов, ни сладостей, ни корочки сыра. Вечно голодная Адель так усердно, до последней капли соуса, выскребала все хозяйские блюда и тарелки, что стирала с них позолоту.

– Да что же это – неужто она доела кролика?! – вскричала госпожа Жоссеран.

– Похоже на то, – ответила Органс. – А ведь там оставался кусочек... Хотя нет, вот он! А я было удивилась – как это она посмела... Ну так вот, я его беру. Правда, он холодный, но делать нечего!

Что касается Берты, она тщетно искала хоть какую-нибудь еду и наконец обнаружила бутылку, в которую ее мать слила сироп от старого смородинового варенья, чтобы приготовить напиток для гостей. Девушка налила себе полстакана, пробормотав:

– Ага, вот что я сделаю: буду макать в него хлеб!.. Все равно больше ничего нет.

Однако госпожа Жоссеран все же обеспокоилась и строго взглянула на дочь:

– Давай не стесняйся, наливай себе, раз уж добралась! А вот что я завтра предложу гостям – простую воду?

К счастью, она обнаружила новый проступок Адель, что избавило Берту от попреков. Ее мать все еще кружила по кухне в поисках других преступлений служанки, как вдруг углядела на столе книгу, вызвавшую у нее новый приступ ярости:

– О боже, эта поганка опять притащила в кухню моего Ламартина!

Это был томик «Жослена». Схватив книгу, госпожа Жоссеран стала тереть переплет, стряхивая крошки и твердя, что она двадцать раз запрещала кухарке таскать ее по квартире и записывать на полях домашние расходы. Тем временем Берта и Органс поделили между собой последний жалкий кусок хлеба и унесли в спальню скудный ужин, сказав матери, что хотят снять бальные платья. Та бросила последний взгляд на давно остывшую плиту и вернулась в столовую, крепко зажав своего Ламартина под мышкой.

А Жоссеран продолжал писать. Он надеялся, что его половина ограничится презрительным взглядом, направляясь в спальню. Но она снова рухнула на стул напротив мужа и молча, пристально посмотрела на него. Бедняга почувствовал на себе этот пронизывающий взгляд и пришел в такое смятение, что его перо процарапало насквозь тонкую бумагу бандероли.

– Так это вы запретили Адель приготовить крем для завтрашнего приема? – спросила она наконец.

Вот тут ее изумленный супруг решился поднять глаза:

– Я... запретил? Ну что вы, моя дорогая!

– О, ну конечно, вы опять станете отрицать, как всегда... Но тогда почему же она не сделала крем, как я велела?.. Вы же прекрасно знаете, что завтра, перед нашим приемом, у нас будет ужинать дядюшка Башляр, – его именины так неудачно совпали с нашим приемным днем. И если не будет крема, придется заказывать мороженое – это еще пять франков, выброшенных на ветер!

Ее супруг даже не пытался отрицать свою вину. Не смея продолжить работу, он сидел, вертя в руках вставочку с пером. Воцарилось короткое молчание.

– Так вот, – приказала госпожа Жоссеран, – будьте любезны зайти утром к Кампардонам и вежливо – очень вежливо! – напомнить, что мы ждем их завтра к вечеру... Нынче к ним приехал родственник, молодой человек. И вы попросите их привести его тоже. Вы слышите: я хочу, чтобы он к нам пришел.

– Какой молодой человек?

– Я сказала: молодой человек, и точка, слишком долго вам объяснять... Я о нем уже разузнала. Приходится все делать самой – вы же бросили дочерей на произвол судьбы, все свалили мне на руки, их замужество вас совершенно не заботит! – Она говорила, с каждым словом распаляясь все сильнее. – Как видите, я еще сдерживаюсь, хотя, видит Бог, забот у меня выше головы!.. Молчите, молчите, или я действительно рассержусь...

Жоссеран молчал, но и это привело его супругу в ярость.

– В общем, все это уже невыносимо! Предупреждаю вас: в один прекрасный день я уйду из дому и оставлю на вас этих двух дур, ваших дочерей... Неужто я родилась на свет, чтобы прозябать в нищете?! Считать каждый грош, не позволять себе купить пару туфель; более того, даже не иметь возможности достойно принять у себя в доме друзей! И все это по вашей вине!.. Вы меня обманули, бесстыдно обманули. Порядочные люди не женятся, если у них нет ни гроша в кармане, чтобы обеспечить жену. А вы пыжились, хвастали своим блестящим будущим, дружили с сыновьями вашего хозяина, с этими братьями Бернгейм, которым всегда было плевать на вас... Да еще смеете утверждать, что они вас не надули! Вы давным-давно должны были стать их компаньоном! Разве не вы сделали их хрустальную фабрику тем, чем она является сегодня, – одним из лучших предприятий Парижа?! А вы как были, так и остались у них простым кассиром, жалким подчиненным, мальчиком на побегушках... Вот так! И не смейте возражать, вы просто жалкое ничтожество!

– Я получаю восемь тысяч франков, – пробормотал кассир. – Это хорошее жалованье.

– Хорошее жалованье?! После тридцати-то лет беспорочной службы?! – фыркнула госпожа Жоссеран. – Вами помыкают, а вы и рады стараться... А знаете, что я сделала бы на вашем месте? Я давным-давно прибрала бы к рукам их хваленую компанию. Это ведь было легче легкого; я сразу все поняла, еще когда выходила за вас, и с тех пор постоянно склоняла вас к этому. Но для такого требуются мозги и предприимчивость, тогда как вы спали наяву, тюфяк эдакий!

– Но, помилуйте, – прервал ее Жоссеран, – ведь не станете же вы упрекать меня в том, что я вел себя как честный человек?!

Услышав это, супруга встала и надвинулась на мужа с угрожающим видом, размахивая своим Ламартином:

– Честный человек? И как вы это понимаете?.. Да вы сперва станьте честным по отношению ко мне! А все остальные – это уж потом, я надеюсь! Так вот что я вам скажу, милостивый государь: честный человек не стал бы завлекать девушку в свои сети, хвастаясь, что он разбогатеет в один прекрасный день, а в результате сделавшись сторожем при чужой кассе. Нечего сказать, хорошо же вы обвели меня вокруг пальца!.. Ах, если бы можно было вернуть то время; если бы знать, в какую семейку я угодила!..

И она в гневе металась по комнате из угла в угол. Ее супруг, горячо желавший заключить мир с женой, все же не сумел сдержать раздражения и сказал:

– Вам лучше бы лечь спать, Элеонора. Время уже второй час ночи, а у меня срочная работа, уверяю вас... Мои родные ничего плохого вам не сделали, давайте не будем о них говорить.

– А почему бы мне о них не поговорить?! Я не думаю, что ваше семейство лучше прочих... И в Клермоне всем известно, что ваш папаша, поверенный, продал свою контору и разорился из-за какой-то служанки. Вам уже давно удалось бы выдать замуж своих дочерей, если бы он не путался с этой шлюхой в семьдесят с лишним лет. Вот он-то первый меня и обокрал!

Господин Жоссеран побледнел. И ответил дрожащим голосом, который мало-помалу окреп:

– Послушайте, давайте не будем попрекать друг друга нашими семьями. Напоминаю, что ваш отец так и не отдал мне обещанные тридцать тысяч франков вашего приданого.

– Что?..

– Да, именно так, и не притворяйтесь, будто ничего не знаете!.. Если мой отец и попла- тился за свои грехи, то ваш повел себя непорядочно по отношению ко всем нам. Я так и не разобрался в его наследственных делах; он пошел на всякие низкие уловки, чтобы пансион на улице Фоссе-Сен-Виктор достался мужу вашей сестры, этому ничтожеству, который нынче даже не здоровается с нами... Они нас попросту ограбили, как разбойники с большой дороги.

Госпожа Жоссеран смертельно побледнела; она даже не сразу нашлась с ответом, чтобы опротестовать дерзкие упреки восставшего супруга.

– Не смейте говорить плохо о папе! Он был гордостью школы целых сорок лет. Спро- сите кого хотите об учебном заведении Башляра в квартале Пантеона!.. А что касается моей сестры и зятя, то... да, они именно таковы; я знаю, что они меня обобрали, но не вам о них судить, я этого не потерплю, слышите вы, не потерплю! Разве я вас попрекаю вашей сестрой из Лезандли, которая сбежала из дому с офицером?! Так как же вы смеете меня оскорблять после этого?!

– Да, с офицером – который женился на ней, мадам!.. А вы лучше вспомните о дядюшке Башляре, вашем брате, человеке и вовсе беспутном...

– Да вы просто рехнулись, сударь! Он богат, он зарабатывает кучу денег на посредниче- ских сделках, и он обещал дать Берте приданое... разве это не вызывает уважения?

– Ах вот как, приданое для Берты! Могу биться об заклад, что он не даст ей ни гроша, и все наши старания вытерпеть его отвратительные манеры пропадут втуне! Когда он бывает у нас, я просто сгораю со стыда. Лжец, развратник, эксплуататор, который пользуется нашим положением, который вот уже пятнадцать лет, зная, как мы стелемся перед ним из-за его богат- ства, каждую субботу заставляет меня проводить два часа в его конторе и проверять его наклад- ные! На этом он экономит целых сто су... Мы еще убедимся, чего стоят его посулы.



Госпожа Жоссеран, задохнувшись от возмущения, смолкла на минуту. Потом выкрикнула последний довод:

– А зато ваш племянник служит в полиции, сударь мой!

Наступило короткое молчание. Огонек маленькой лампы становился все бледнее, ленты бандеролей взлетали под лихорадочными взмахами рук Жоссерана; он глядел на супругу, сидевшую напротив, на ее низкодекольтированное платье, готовясь высказать все, что у него накопело, и дрожа от собственной храбрости.

– На восемь тысяч франков можно жить вполне благополучно, – произнес он. – Не понимаю, почему вы все время жалуетесь. Просто не нужно жить с таким размахом. А эта ваша мания наносить визиты, назначать у нас журфиксы, потчевать гостей чаем с пирожными...

Однако жена прервала его на полуслове:

– Ага, вот вы и проговорились! Ну что ж, заприте меня в своем доме, обвините в том, что я не выхожу на улицу голая... А вот как быть с нашими дочерьми, где они найдут себе женихов, если мы перестанем знаться с людьми? За ними и так никто не ухаживает. Так стоит ли жертвовать собой, если вам потом будут приписывать такие низкие помыслы?!

– Мадам, мы уже и так пожертвовали очень многим. Леону пришлось ради сестер уйти из дому без гроша, в чем был. Что же касается Сатюрнена, бедный мальчик даже не умеет читать... Я лишаю себя буквально всего, работаю по ночам...

– О, тогда к чему же было заводить дочерей?.. Неужто для того, чтобы потом попрекать их образованностью? Любой другой на вашем месте гордился бы аттестатами Ортанс и талантами Берты, которая не далее как нынче вечером очаровала всех своим исполнением вальса «На берегах Уазы», а завтра несомненно вызовет восхищение наших гостей своей последней картиной... Нет, сударь, вы дурной отец; будь ваша воля, вы давно послали бы своих детей пасти коров, вместо того чтобы обучать их в пансионе.

– Вспомните, что я оплачивал страховку для Берты. И что же вы сделали, когда наступил срок четвертой выплаты? Потратили эти деньги на обивку мебели в гостиной! А затем потребовали вернуть вам три первые выплаты!

– Конечно! Ведь вы попросту морили нас голодом... Ну, погодите, сударь, вы еще раскаетесь, когда ваши дочери останутся старыми девами.

– Это я раскаюсь?! Да вы же сами, черт подери, распугиваете женихов своими туалетами и дурацкими суаре!

Жоссеран никогда еще не позволял себе такой дерзости. Его супруга, задыхаясь от ярости, бормотала:



– Это я... это у меня-то дурацкие суаре?!

Но тут растворилась дверь и вошли Ортанс с Бертой, обе с распущенными волосами, в нижних юбках и сорочках, в шлепанцах на босу ногу.

– Господи, до чего же у нас в спальне холодно, прямо зуб на зуб не попадает! – воскликнула Берта. – Слава богу, нынче вечером хотя бы здесь протопили.

И девушки придвинули стулья поближе к печке, еще хранившей остатки тепла. Ортанс держала в руке кроличью спинку, которую старательно обгладывала до костей. Берта макала хлебные корочки в стакан с сиропом. Впрочем, их родители, похоже, даже не заметили появления дочерей, они продолжали препираться.

– «Дурацкими суаре»?.. Что ж, я больше не стану их устраивать, мои «дурацкие суаре»! Пусть мне отсекут голову, если я куплю еще хоть пару перчаток для того, чтобы выдать их замуж... Занимайтесь этим сами! И постарайтесь при этом выглядеть не так по-дурацки, как я!

– Черт побери, да как же их пристроить, после того как вы, сударыня, таскали и компрометировали их повсюду?! Делайте что хотите – сватайте их, не сватайте, мне на все наплевать!

– И мне тоже наплевать, еще больше, чем вам! До того наплевать, что я выгоню их на улицу, если вы опять посмеете меня мучить. А если вам их станет жаль, можете убираться вместе с ними, скатертью дорога!.. О боже мой, наконец-то я тогда избавлюсь от вас!

Девушки, давно уже привыкшие к родительским скандалам, спокойно слушали эту перебранку. Они сидели у печки, прижимаясь к теплым фаянсовым плиткам, не обращая внимания на скандал и продолжая жадно есть, очаровательные в своих сорочках, спадавших с плеч, с сонными глазами.

– Зря вы ругаетесь, – сказала наконец Органс, не переставая жевать. – Мама расстроится, а папа завтра пойдет в свою контору с головной болью... По-моему, мы уже достаточно взрослые, чтобы самим сыскать себе женихов.

Ее слова прервали родительскую ссору. Отец, в полном изнеможении, сделал вид, будто продолжает работать; он сидел, уткнувшись в свои бумаги, но не мог писать, так сильно тряслись у него руки. Зато мать, метавшаяся по комнате, словно разъяренная львица, тут же налетела на Органс.

– Если ты имеешь в виду себя, то ты просто дура набитая! – крикнула она. – Твой Вердье никогда в жизни на тебе не женится!

– Ну, это уж моя забота, – спокойно возразила девушка.

Презрительно отказав пяти или шести претендентам на ее руку – скромному служащему, сыну портного и другим молодым людям, не имевшим никакого будущего, – она положила во что бы то ни стало выйти за адвоката Вердье, встреченного у Дамбревилей; ему было уже сорок лет. Органс считала этого господина очень успешным и прочила ему блестящую карьеру. Но на ее беду, Вердье уже лет пятнадцать жил с любовницей, которую в их квартале даже считали его законной супругой. И хотя девушке все было известно, она не придавала этому никакого значения.

– Дитя мое, – сказал ее отец, снова подняв голову, – я ведь просил тебя не рассчитывать на этот брак... Ты же знаешь, каково положение вещей.

Девушка, отложив кроличью косточку, сердито спросила:

– Ну и что? Вердье положительно обещал мне бросить эту глупую курицу.

– Органс, напрасно ты так говоришь... Что, если этот человек в один прекрасный день бросит тебя и вернется к той, которую ты заставила его покинуть?

– А это уж моя забота! – так же резко оборвала его дочь.

Берта внимательно слушала их, хотя давно знала эту историю, подробности которой ежедневно обсуждала с сестрой. Впрочем, она, как и ее отец, втайне сочувствовала несчастной женщине, которую собирались выбросить на улицу после пятнадцати лет жизни с любовником. Но тут вмешалась госпожа Жоссеран:

– Ах, оставьте! Эти развратницы всегда кончают жизнь в канаве. Тут дело в другом: Вердье никогда в жизни не решится ее выгнать... Он просто водит тебя за нос, милочка. На твоём месте я ни минуты не ждала бы, пока он решится, а постаралась бы найти еще кого-нибудь.

Органс побелела, от злости ее голос стал пронзительным:

– Мама, ты меня хорошо знаешь... Мне нужен только Вердье, и я этого добьюсь, буду ждать его хоть сто лет, но никогда не выйду ни за кого другого!

На что ее мать ответила, пожав плечами:

– И ты еще считаешь других дурочками!

Но девушка в ярости вскочила на ноги и закричала:

– Не смей так говорить! Я доела кролика и уж лучше пойду спать. Раз тебе не удастся выдать нас замуж, так позволь нам действовать самим!

И она вышла, с грохотом захлопнув за собой дверь.

Госпожа Жоссеран величественно повернулась к своему супругу. И мрачно изрекла:

– Вот, сударь, плоды вашего воспитания!

Но муж не ответил: он ставил пером чернильные точки на своем ногте, выжидая, когда же ему наконец дадут поработать. Берта, доевшая хлеб, запустила палец в стакан, чтобы собрать остатки сиропа. Она сидела спиной к печке, разомлев в тепле и не спеша уходить, – ей вовсе не хотелось возвращаться в холодную спальню и выслушивать сварливые речи сестры.

– Вот она – награда за мои труды! – продолжала госпожа Жоссеран, снова расхаживая взад-вперед по столовой. – Двадцать лет гнешь спину на дочерей, лишаешь себя всего, чтобы воспитать их как настоящих барышень, а эти неблагодарные даже не позволяют матери выбрать им жениха на ее вкус... И добро бы им в чем-нибудь отказывали!.. Я тратила на них все до последнего сантима, сэкономила на своих платьях, наряжала их, как принцесс, словно у нас пятьдесят тысяч франков ренты... Нет, поистине, это полная нелепица! Даешь этим нахалкам блестящее воспитание, светское и религиозное, учишь их манерам богатых барышень, и вот нате вам! – в один прекрасный день они объявляют, что намерены бросить родителей и выйти замуж за какого-нибудь адвоката, за авантюриста, погрязшего в разврате!

Тут она осеклась, вспомнив о присутствии Берты, и ткнула в нее пальцем:

– Запомни: если ты пойдешь по стопам своей сестрицы, будешь иметь дело со мной!

И продолжала разглагольствовать, уже ни к кому не обращаясь, перескакивая с одной темы на другую и противореча самой себе, с тупым упрямством женщины, считающей, что она всегда права.

– Итак, я исполнила свой долг и, если бы понадобилось, повторила бы то же самое... В этой жизни проигрывают самые стыдливые. А деньги есть деньги, и когда их нет, самое разумное – держать рот на замке... Вот я, когда у меня в кармане было двадцать су, всегда говорила, что сорок, потому что это умнее: уж лучше вызывать зависть, чем жалость... Можно быть сколько угодно образованным, но, если вы не устроены, люди все равно будут вас презирать. Это несправедливо, но такова жизнь... Я готова носить грязные нижние юбки, нежели ходить в чистом ситцевом платьишке. И вот мой девиз: ешьте картошку в семейном кругу, но подавайте курицу, когда созываете гостей на ужин. А те, кто утверждает обратное, попросту безмозглые дураки!

И она вперила взгляд в мужа, которому предназначались последние слова. Бедняга, вконец обессиленный, решил сдаться и трусливо объявил:

– Золотые слова, нынче одни только деньги в почете.

– Слыхала, что говорит отец? – подхватила госпожа Жоссеран, обратившись к дочери. – А теперь марш в постель и постарайся больше не огорчать родителей... Как же это ты ухитрилась сегодня упустить жениха?!

Берта поняла, что настал ее черед.

– Не знаю, мама, – пробормотала она.

– Помощник столоначальника! – продолжала ее мать. – Еще и тридцати нет, а у него уже такое блестящее будущее! Каждый месяц будет приносить в дом деньги, и положение у него прочное, вот что самое важное! А ты, верно, держалась с ним так же глупо, как со всеми предыдущими?

– Нет, мама, уверяю тебя, что нет... Он, верно, навел справки и разузнал, что за мной ничего не дают.

Госпожа Жоссеран возмущенно вскинулась:

– А как же приданое, которое тебе обещал твой дядюшка? Все это знают, все слышали об этом приданом... Нет, тут что-нибудь другое – слишком уж внезапно он оборвал знакомство... Когда вы с ним танцевали, то зашли в малую гостиную, верно?

Берта смущенно потупилась:

– Да, мама... И когда мы остались там наедине, он пустился на всякие гадости – обнял меня и прижал к себе, вот так, крепко... Я испугалась, оттолкнула его, и он ударился о комод...

Разъяренная мать прервала ее:

– Оттолкнула... ударился о комод?... Да ты просто дура набитая!

– Но, мама, он меня схватил...

– Ну и что тут такого?... Он вас схватил, мадемуазель, – подумаешь, какая важность! Вот и посылайте после этого таких дур в пансион! Чему только вас там учили, скажи, пожалуйста?!

Щеки и плечи девушки залила краска. На глазах выступили слезы оскорбленной стыдливости.

– Я не виновата, у него был такой свирепый вид... Откуда я знаю, что нужно делать в таких случаях?!

– Что нужно делать?! Она еще спрашивает, что нужно делать!.. Сколько раз я вам твердила, что ваша стыдливость просто смешна! Вы родились, чтобы жить в обществе. Когда мужчина обходится с вами чересчур фамильярно, это доказывает, что вы ему нравитесь; и есть десятки способов поставить его на место мягко, не обижая... Подумаешь, какой-то поцелуй за дверью! На самом деле вам не обязательно и докладывать об этом родителям! – И она продолжала назидательным тоном: – Ну, с меня хватит, это безнадежно, вы просто глупая курица, дочь моя... Мне надоело вдавливать вам правила поведения, все равно толку не будет. Поскольку у вас нет денег, поймите же наконец, что нужно ловить мужчин на иную приманку. Держитесь любезно, глядите томно; если вас возьмут за руку, не отнимайте ее, позволяйте себе как бы между прочим невинные шалости – одним словом, ловите себе мужа... И не надейтесь, что вы станете красивее оттого, что льете слезы как последняя дурочка!

Берта разрыдалась еще пуще.

– Ох, как ты меня раздражаешь своим хныканьем! Жоссеран, прикажите вашей дочери не портить лицо слезами. Не хватает еще, чтобы она подурнела!

– Дитя мое, будь благоразумна, – сказал отец. – Слушайся мать, она тебе плохого не посоветует. Ты же не хочешь подурнеть, моя дорогая?

– Но больше всего меня бесит то, что она, когда хочет, может быть вполне хорошенькой, – продолжала госпожа Жоссеран. – А ну-ка, вытри глаза и посмотри на меня так, словно я мужчина, который с тобой флиртует... Улыбнись, урони свой веер, чтобы этот господин, поднимая его, мог коснуться твоих пальчиков... Да нет же, все не так. Чего ты надулась и смотришь как больная курица? Откинь головку, покажи свою шею: она достаточно свежа, чтобы ею можно было похвастаться.

– Вот так, мама?

– Ну вот, теперь получше... И не держись так напряженно, изгибайся, показывай, какая у тебя гибкая талия. Мужчины не любят женщин, похожих на доску... А главное, если они заходят слишком далеко, не строй из себя недотрогу. Мужчина, который ведет себя чересчур вольно, доказывает тем самым свою пылкость, моя милая.

Часы в гостиной уже пробили два часа ночи, а мать, все еще возбужденная этим затянувшимся бдением и обуреваемая неистовым желанием скорейшего замужества дочери, забыв обо всем на свете, говорила и говорила, вертя дочь во все стороны, точно картонного паяца. Девушка вяло, безвольно подчинялась ей, как ни тяжело было у нее на сердце, как ни сжималось у нее горло от страха и стыда. В конце концов, оборвав серебристый смех, которому учила ее мать, она горько разрыдалась, бессвязно лепеча с искаженным лицом:

– Нет... нет! Это слишком отвратительно!..

Госпожа Жоссеран, растерянная и уязвленная, на секунду умолкла. Еще с того момента, как они покинули квартиру Дамбrevилей, у нее прямо руки чесались – надавать пощечин дочери. И теперь она, размахнувшись, влепила Берте жестокую оплеуху:

– Вот тебе, получай! Ты мне надоела!.. Боже, какая дура! Ей-богу, мужчины правы, что обходят тебя!

От этого резкого движения Ламартин, которого госпожа Жоссеран так и не выпустила из рук, свалился на пол. Она подобрала его, обтерла и, волоча шлейф своего парадного платья, величественно направилась в спальню.

– Ну вот, так я и знал, что этим кончится, – прошептал ее супруг; он даже не посмел задержать дочь, которая тоже вышла из комнаты, держась за щеку и плача еще горше.

Пробираясь ощупью через переднюю, Берта наткнулась на своего брата Сатюрнена, который подслушивал их, стоя босиком, под дверью. Это был рослый малый двадцати пяти лет, нескладный, со странными глазами, оставшийся сущим ребенком после перенесенного воспаления мозга. Он не был безумен, но постоянно терроризировал домашних приступами бешенства, когда ему в чем-нибудь противоречили. И только Берта могла успокоить его одним взглядом. Во время ее долгой болезни, когда она была еще маленькой, брат ухаживал за ней, подчинялся, как верный пес, малейшим ее капризам и с тех пор, став спасителем сестры, относился к ней со слепым и преданным обожанием.

– Она опять тебя била? – спросил он возбужденным шепотом.

Берта, испуганная этой встречей, попыталась отослать его из передней:

– Иди к себе и ложись спать, это тебя не касается.

– Нет, касается. Я не хочу, чтобы она тебя била, слышишь, не хочу!.. Она меня разбудила своими криками... Пусть она больше так не делает, а то я ее убью!

Сестра схватила его за руки, успокаивая, словно разъяренного пса.

Сатюрнен тут же притих и пробормотал, по-детски всхлипывая:

– Она тебе сделала больно?.. Ну скажи, где у тебя болит, дай я поцелую. – И, найдя ощупью щеку сестры, обцеловал ее, облизывая, омочил слезами, твердя: – Ну все, уже не больно, уже не больно!

Тем временем Жоссеран, оставшийся в одиночестве, уронил на стол свое перо, не в силах справиться с нахлынувшим горем. Посидев так несколько минут, он встал, на цыпочках подошел к двери и прислушался. Его супруга уже храпела в спальне. Дочери у себя в комнате больше не плакали. В квартире воцарились тьма и покой. Слегка утешенный, он вернулся к столу, поправил потрескивавший фитиль лампы и машинально погрузился в работу. Две крупные слезы, которых он и не заметил, скатились на бандероли в торжественной тишине уснувшего дома.

III

За рыбным блюдом – это был сомнительной свежести скат, в пережаренном масле, которого эта поганка Адель вдобавок щедро полила уксусом, – Органс и Берта, сидевшие по обе стороны от Башляра, наперебой уговаривали дядюшку выпить, наполняя его бокал и твердя:

– Нынче ведь ваши именины, дядюшка!.. Выпейте за свое здоровье, дядюшка!..

Сестры сговорились непременно выжать из дяди двадцать франков. Каждый год их предусмотрительная мамаша сажала девушек рядом со своим братом и отдавала им его на растерзание. Но это была крайне сложная задача, она требовала упорства и настойчивости обеих девиц, неустанно мечтавших о модных бальных туфельках и о перчатках до локтя, на пяти пуговках. Для этого нужно было напоить дядюшку допьяна. Он относился к родным как последний скаред, притом что спускал в сомнительном обществе весь свой доход в восемьдесят тысяч франков, заработанных на посреднических сделках. Однако нынче вечером девицам повезло: Башляр явился к ним уже в подпитии, так как провел день в предместье, на Монмартре, у красильщицы, которая заказывала специально для него вермут в Марселе.

– За ваше здоровье, кошечки мои! – всякий раз отвечал дядюшка своим грубым, хриплым голосом, осушая бокал.

Он сидел во главе стола, сверкая драгоценными перстнями, с розой в петлице, – грузный старик с повадками торговца, гуляки и крикуна, погрязшего во всех пороках. Его искусственные, подозрительно белые зубы никак не сочетались с грубой, морщинистой физиономией; огромный красный нос пылал под седым ежиком густых, коротко остриженных волос; морщинистые веки то и дело падали, прикрывая бледные, мутные глаза. Гелен – племянник его покойной жены – утверждал, что дядюшка «не просыхает» уже десять лет, с тех пор как овдовел.

– Нарсис, съешь еще кусочек ската, он сегодня удался! – уговаривала госпожа Жоссеран, улыбаясь пьяному брату, хотя ее тошнило от одного его вида.

Она сидела напротив, по другую сторону стола; слева от нее помещался юный Гелен, справа – молодой человек по имени Эктор Трюбло, которому она была кое-чем обязана. Обычно она пользовалась этим семейным ужином, чтобы не устраивать отдельных приемов для некоторых гостей, вот почему их соседка мадам Жюзер также сидела здесь рядом с Жоссераном. Вдобавок дядюшка вел себя за столом крайне бесцеремонно, и чтобы спускать ему отвратительные манеры, нужно было очень уж рассчитывать на его наследство; впрочем, она показывала его только самым близким знакомым или людям, которым необязательно было пускать пыль в глаза. К таким, например, относился молодой Трюбло, на которого она прежде смотрела как на будущего зятя. Он служил у какого-то маклера, ожидая, когда его отец, человек с немалым состоянием, купит для него долю в этом деле; но, поскольку Трюбло выказывал крайнее отвращение к браку, хозяйка дома перестала с ним церемониться и теперь усаживала его рядом с Сатюрненом, который всегда ел крайне неряшливо. Берте, сидевшей по другую сторону от брата, поручалось сдерживать строгим взглядом его выходки – например, когда он запускал пальцы в соус.

После рыбного блюда служанка принесла паштет, и девушки сочли, что настал подходящий момент для новой атаки.

– Выпейте же, дядюшка! – сказала Органс. – Нынче ваши именины... Неужто вы не подарите нам что-нибудь по этому случаю?

– Да, верно! – добавила Берта намеренно простодушным тоном. – По случаю именин всегда делают подарки... Подарите нам двадцать франков!

Стоило девушке заговорить о деньгах, как Башляр притворился мертвецки пьяным.

Это была его обычная уловка: он прикрывал глаза, делал вид, будто ничего не понимает, и бормотал:

– Что-что? Какие еще двадцать франков?..

– Двадцать франков; и не притворяйтесь – вы прекрасно знаете, что такое двадцать франков, – настаивала Берта. – Подарите нам двадцать франков, и мы будем вас любить еще крепче, крепко-крепко!

И сестры принялись обнимать старика, осыпая его ласковыми словечками, целуя в багровые щеки и ничуть не брезгуя исходящим от него запахом самого низкого разврата. Жоссеран, с отвращением вдыхавший эту стойкую вонь – смесь абсента, табака и мускуса, – брезгливо передернулся, глядя, как его дочери прижимаются свежими личиками к физиономии старика, от которого так и несло мерзкой вонью порока.

– Оставьте его в покое! – выкрикнул он.

– С какой стати? – возмутилась госпожа Жоссеран, бросив испепеляющий взгляд на своего супруга. – Девочки просто забавляются... Если Нарсису захочется подарить им двадцать франков, он волен поступать, как ему угодно.

– Господин Башляр так добр к девочкам! – с умилением прошептала мадам Жюзер.

Однако дядюшка отбивался от племянниц и только твердил, совсем обмякнув, роняя слюну:

– Ну и дела... Ничего не понимаю, честное слово, ничего...

Ортанс и Берта, переглянувшись, оставили дядю в покое, – похоже, он еще был недостаточно пьян. И они начали усердно подливать ему вина, хихикая, словно уличные девки, решившие выбить деньги из клиента. Их красивые обнаженные, по-девичьи свежие руки так и мелькали перед огромным багровым носом дяди.

Тем временем Трюбло, молчаливый юнец, развлекавшийся на свой лад, не спускал глаз с Адель, которая неумело хлопотала за спинами гостей. Он был очень близорук и потому считал красоткой эту девицу, с ее топорным лицом бретонки и волосами цвета грязной пакли. А она, подавая жаркое из телятины, как раз в этот момент налегла на его плечо, чтобы дотянуться до середины стола, и юноша, притворившись, будто поднимает упавшую салфетку, свирепо уцепил ее за лодыжку. Но служанка так ничего и не поняла и только недоуменно покосилась на него, решив, что он просит подать ему хлеб.

– Что случилось? – спросила мадам Жоссеран. – Она вам на ногу наступила? Ах, она так неуклюжа, ну да что с нее взять – деревенщина!

– О, ничего страшного, – ответил Трюбло, спокойно поглаживая густую черную бородку.

В столовой сперва было очень холодно, но постепенно, от пара горячей еды, беседа становилась все более оживленной. Мадам Жюзер уже в который раз начала жаловаться Жоссерану на свою одинокую, унылую жизнь – а ведь ей всего-то тридцать лет! Муж покинул ее на десятый день после свадьбы; о причинах она умалчивала. И вот теперь она влачит одинокое существование в своей уютной квартирке, куда впускает одних лишь священников.

– Ах, это так грустно, в мои-то годы! – с томной печалью говорила она, изящно поднося ко рту вилку с кусочком мяса.

– Бедняжка, как ей не повезло! – шепнула госпожа Жоссеран на ухо Трюбло, с видом глубокого сочувствия.

Однако тот с полнейшим безразличием смотрел на эту святошу с невинными глазами, подозревая в ней тайные пороки, скрытые под пресной личиной. Ему не нравились такие женщины.

Но тут случилась неприятность: Сатюрнен, за которым Берта, подступив к дяде, перестала следить, вздумал играть со своей порцией мяса, разрезая его на кусочки и выкладывая их мозаикой на тарелке. Бедный малый раздражал мать – она стыдилась сына, боялась его выходок, не знала, как от него избавиться, но из самолюбия не решалась сделать из него простого

рабочего, пожертвовав им ради его сестер; в свое время мать забрала его из пансиона, где этот отсталый подросток никак не развивался; с тех пор Сатюрнен уже много лет бродил по дому, бесполезный, тупой, и всякий раз, как матери приходилось выводить его на люди, это было для нее тяжким испытанием. Ее гордость была задета.

– Сатюрнен! – прикрикнула она.

Однако Сатюрнен, крайне довольный проделкой, только хихикнул. Он нисколько не уважал мать, открыто насмехался над ее грубым, лживым нравом и громко уличал ее в этом с прозорливостью, свойственной психически ненормальным. Сейчас все грозило скандалом: он вполне мог швырнуть тарелку ей в лицо, если бы Берта, вспомнив о своей обязанности, не устремила на брата строгий пристальный взгляд. Сатюрнен хотел было возмутиться, но его глаза тут же померкли, он съехался на своем стуле и до конца ужина так и просидел в прострации.

– Гелен, я надеюсь, вы не забыли принести свою флейту? – спросила госпожа Жоссеран, желая развеять тягостное впечатление от этой сценки.

Гелен играл на флейте по-любительски и только в тех домах, где к нему относились снисходительно.

– Мою флейту? Ну разумеется, принес, – рассеянно ответил он.

Его волосы и бакенбарды сейчас взъерошились больше обычного – он был крайне заинтересован маневрами девушек, наседавших на своего дядю. Сам он работал в одной страховой компании, встречал Башляра на выходе из конторы и уже не оставлял его, таскаясь за ним по одним и тем же кафе и злачным местам. Если кто-нибудь видел на улице грузную, развинченную фигуру одного, можно было с уверенностью сказать, что тут же появится бледная, испитая физиономия другого.

– Смелее, девушки, не отпускайте его! – внезапно воскликнул он, точно судья, считающий удары.

Дядюшка и в самом деле мало-помалу начал сдавать позиции. Когда после овощного блюда – зеленой фасоли – Адель подала ванильное и смородиновое мороженое, гости внезапно развеселились, и девицы воспользовались ситуацией, чтобы заставить дядю выпить полбутылки шампанского, которое госпожа Жоссеран покупала у соседа-бакалейщика по три франка за бутылку. После этого он совсем размяк и перестал притворяться непонимающим:

– Что, двадцать франков?.. А почему двадцать?.. Ага, вы, стало быть, хотите получить двадцать франков... Но у меня нет их с собой, клянусь Богом! Вот хоть спросите у Гелена. Не правда ли, Гелен, я оставил в конторе кошелек, и тебе пришлось заплатить за меня в кафе... Будь у меня двадцать франков, кошечки мои, я бы охотно дал их вам, уж больно вы милые!

Гелен, с обычным своим холодным взглядом, визгливо посмеивался, и этот смех походил на скрип несмазанного колеса. Он бормотал себе в бороду:

– Ох уж этот старый жулик! – Затем во внезапном приступе злорадства крикнул: – Да обыщите вы его!

Ортанс и Берта снова, совсем уж бесцеремонно, набросились на дядю. Страстное желание раздобыть двадцать франков, которое доселе сдерживалось строгим воспитанием, в конечном счете привело их в полное неистовство, и они совсем забыли о приличиях. Одна из сестер обшаривала жилетные карманы старика, вторая запустила руку в карманы редингота. Тем не менее дядюшка, отвалившийся от стола, все еще сопротивлялся, хотя его одолевал смех – смех, перебиваемый пьяной икотой.

– Честное слово, у меня нет ни гроша... – бормотал он. – Да прекратите же, вы меня щекочете!

– Ищите в панталонах! – вскричал Гелен, донельзя возбужденный этим зрелищем.

И Берта решительно, без стеснения, начала копать в кармане панталон старика. Руки девушек дрожали, обе вели себя совсем уж бесцеремонно, готовы были отхлестать дядю

по щекам. Но тут Берта с победным воплем вытащила из глубины дядиногo кармана горсть мелочи, высыпала ее на тарелку и там, среди медных и серебряных монет, заблестала золотая двадцатифранковая.

– Вот она, голубушка! – вскричала она, растрепанная и красная от возбуждения, подбрасывая и ловя вожаделенную добычу.

Все сидевшие за столом аплодировали, найдя эту сценку весьма забавной. В комнате стоял гам, ужин получился веселее некуда. Госпожа Жоссеран глядела на дочерей с растроганной материнской улыбкой. Дядюшка, сгребавший с тарелки свою мелочь, назидательно объявил, что тот, кому понадобились двадцать франков, должен их заработать. А его племянницы, усталые и довольные, тяжело переводили дух; их губы все еще дрожали от нервного напряжения, вызванного неудержимым желанием добычи.

Но тут кто-то позвонил в дверь. Вечерняя трапеза слишком затянулась, это уже явились остальные гости. Жоссеран, решивший, в подражание своей супруге, посмеяться над недавним инцидентом, начал распевать за столом куплеты Беранже, однако та велела ему замолчать: Беранже оскорблял ее поэтические вкусы. Она поторопила служанку с десертом, тем более что дядюшка, расстроенный вынужденным подарком – потерей двадцати франков, – искал предлога для ссоры и жаловался, что его племянник Леон не снизошел до того, чтобы поздравить его с именинами. Леон должен был прийти только поздним вечером. Когда гости уже вставали из-за стола, Адель доложила, что в салоне ждет архитектор «снизу», а еще какой-то молодой человек.

– Ах да, тот самый юноша, – прошептала госпожа Жюзер, опершись на подставленную руку Жоссерана. – Так вы и его пригласили?.. Я нынче заметила его внизу, у консьержа. Он выглядит очень прилично.

Госпожа Жоссеран уже собралась взять под руку Трюбло, как вдруг Сатюрнен, оставшийся в одиночестве за столом, где он задремал во время суеты с двадцатью франками, проснулся, открыл глаза, вскочил, яростно опрокинув свой стул, и завопил:

– Я не хочу, черт побери! Не хочу!

Именно этого и боялась его мать. Она знаком велела мужу увести в салон мадам Жюзер. Потом освободилась от руки Трюбло, который все понял и исчез, но, видимо, ошибся дверью, так как попал в кухню, следом за Адель. Башляр и Гелен, не обращая внимания на «помешанного», как они его величали, хихикали в углу, хлопая друг друга по спине.



– Он сегодня вел себя очень странно; я так и знала, что вечером он устроит скандал, – в панике пролепетала госпожа Жоссеран. – Берта, иди скорее сюда!

Но Берта ее не слушала, она торжествующе показывала Органс двадцатифранковую монету. А Сатюрнен уже схватил нож, твердя:

– Черт бы их побрал! Я не хочу... я им всем распорю животы!...

– Берта! – в отчаянии позвала мать.



Наконец девушка подбежала к брату и как раз вовремя успела схватить его за руку, помешав ворваться в гостиную. Она яростно трясла его за плечи, а он все еще пытался объяснить ей со своей логикой сумасшедшего:

– Пусти меня, я должен это сделать... Говорю тебе, так будет лучше... Мне осточертели их грязные истории. Они всех нас продадут!

– Но это уже невыносимо! – закричала Берта. – Что ты тут мелешь?

Брат изумленно взглянул на нее, сотрясаясь от ярости, и сбивчиво пробормотал:

– Тебя опять хотят выдать замуж... Никогда, слышишь – никогда этому не бывать! Я не хочу, чтобы тебе было плохо.

Девушка невольно рассмеялась. С чего он взял, что ее хотят выдать замуж?

Но ее брат упрямо мотал головой: он знает, он это чувствует! И когда мать подошла к нему, желая успокоить, он сжал в руке нож так свирепо, что она отступила. Побоявшись, что их услышат гости, она шепотом велела Берте увести брата в его комнату и запереть там, а он тем временем, распаясь все сильнее, уже кричал во весь голос:

– Я не хочу, чтобы тебя отдавали замуж, не хочу, чтобы тебе причиняли зло... Если тебя выдадут замуж, я их всех зарежу!

Но Берта схватила его за плечи и, пристально глядя в глаза, сказала:

– Слушай меня внимательно: успокойся, не то я тебя разлюблю.

Сатюрнен пошатнулся, его лицо горестно исказилось, из глаз покатались слезы.

– Ты меня больше не любишь... не любишь... Не надо так говорить! Прощу тебя, скажи, что ты меня еще любишь и всегда будешь любить и никогда не полюбишь никого другого!

Берта взяла брата за руку и увела; он шел за ней послушно, как ребенок.

Тем временем в гостиной госпожа Жоссеран с преувеличенной любезностью беседовала с Кампардоном, величая его «дорогим соседом». Отчего госпожа Кампардон не осчастливила ее своим визитом? И, услышав от архитектора, что его супруге всегда неможется, воскликнула, что ее приняли бы здесь даже в пеньюаре и домашних туфлях. Однако при этом ее радушная улыбка была обращена к Октаву, который беседовал с Жоссераном; все ее любезности предназначались только ему, через плечо Кампардона. Когда супруг представил ей молодого человека, она обратилась к нему с такой горячей любезностью, что тот поневоле смутился.

Тем временем подходили новые гости – матери с худосочными дочерьми, отцы и дядья, еще не страшившие с себя дремоту канцелярий, и все они выталкивали вперед стайки невест на выданье. Две лампы под розовыми бумажными абажурами освещали салон так слабо, что едва можно было разглядеть старую мебель с некогда желтой бархатной обивкой, ободранное фортепиано и три темные литографии с швейцарскими видами, которые выделялись черными пятнами на холодной белизне стенных панно с позолотой. В этом скупом свете гости, с их унылыми, словно стертыми чертами, поношенными туалетами и поникшими фигурами, выглядели призраками.

Госпожа Жоссеран надела давешнее платье огненно-красного цвета, но, чтобы сбить с толку гостей, провела накануне целый день за работой, пришивая к лифу новые рукава и мастера кружевную пелерину, скрывавшую плечи; тем временем ее дочери, сидя рядом, в грязных сорочках, так же усердно работали иголкой, добавляя новые украшения к своим единственным нарядам, которые мало-помалу меняли еще с прошлой зимы.

После каждого звонка в дверь из передней доносилось шушуканье. Гости говорили тихо; любой смешок, вырвавшийся у одной из девушек, вносил фальшивую ноту в тишину этой мрачной комнаты. Башляр и Гелен, стоя позади маленькой мадам Жюзер, подталкивали друг друга локтями, изрекая непристойные шутки, и госпожа Жоссеран то и дело с тревогой поглядывала на них: она опасалась неприличного поведения брата. Однако мадам Жюзер явно все слышала: иногда у нее подрагивали губы, она улыбалась, с ангельской добротой выслушивая их фривольные истории. Дядюшка Башляр считался в этом отношении человеком опасным. Зато его племянник Гелен был, напротив, человеком в высшей степени целомудренным. Он упорно избегал близкого знакомства с женщинами, но не оттого, что презирал их, а из боязни последствий близких отношений, уверяя, что от них «вечно одни неприятности».

Наконец вернулась Берта. Она торопливо подошла к госпоже Жоссеран.

– Ну, все в порядке... ох и намаялась я с ним! – шепнула она матери на ухо. – Он никак не желал ложиться в постель, пришлось запереть его на ключ... Боюсь только, как бы он не переломал все там, у себя в комнате.

Мать свирепо дернула ее за платье: Октав, стоявший рядом с ними, обернулся и взглянул на них.

– Господин Муре, позвольте представить вам мою дочь Берту, – сказала госпожа Жоссе-ран самым что ни на есть ангельским тоном. – А это господин Муре, моя дорогая.

И она пристально взглянула на дочь. Берта, хорошо зная этот взгляд, означавший приказ «к бою», вспомнила вчерашние наставления матери и тут же пустила их в ход, умело изобразив девицу, безразличную к ухаживаниям кавалеров. Она прекрасно вошла в роль веселой, грациозной парижанки, уставшей от светской жизни, но посвященной во все ее тонкости; затем принялась горячо расхваливать юг, где никогда не бывала. Октав, привыкший к чопорным манерам провинциальных барышень, был очарован болтовней этой юной женщины, которая вела себя так непринужденно, почти дружески.

Но тут появился Трюбло, исчезнувший сразу после ужина; он проскользнул в салон через дверь столовой, и Берта, заметив его, наивно спросила, где это он пропадал. Трюбло промолчал, и она смутилась, потом, желая исправить свой промах, представила друг другу молодых людей. Мать, сидевшая поодаль в кресле, не спускала с дочери глаз, точно главнокомандующий, следивший за ходом боя. Наконец, сочтя, что первая «вылазка» окончилась успешно, она знаком подозвала к себе дочь и шепотом приказала:

– Дождись, когда придут Вабры, и тогда уж садись за пианино... Да играй погромче!

Тем временем Октав, оставшись один на один с Трюбло, пытался расспросить его о Берте:

– По-моему, она очаровательная девушка, верно?

– Да, недурна.

– А вон та особа в голубом платье – это ее старшая сестра, не правда ли? Она-то не так привлекательна.

– Ну еще бы, черт возьми! Она какая-то тощая.

Трюбло – близорукий, да и не желавший приглядываться к предмету их беседы – на самом деле был опытным мужчиной, твердо уверенным в своих вкусах и предпочтениях. Он вернулся в гостиную убого обставленной и теперь грыз какие-то черные ядрышки, в которых Октав с удивлением признал кофейные зерна.

– Скажите, – внезапно спросил Трюбло, – у вас там, на юге, женщины, небось, куда более полнотелые?

Октав усмехнулся, и они с Трюбло тотчас почувствовали себя друзьями: их сближали общие вкусы. Присев в сторонке на диванчик, они пустились в откровения: Октав заговорил о хозяйке «Дамского Счастья» госпоже Эдуэн – чертовски красивая женщина, но слишком уж неприступная; Трюбло в свой черед поведал, что работает с девяти утра до пяти писцом в конторе биржевого маклера господина Демарке, у которого очень аппетитная служанка. В этот момент дверь салона растворилась и вошли трое новых гостей.

– А вот и Вабры, – шепнул Трюбло, придвинувшись поближе к своему новому другу. – Долговязый, похожий лицом на хилого барашка, – старший сын владельца дома, ему тридцать три года, и он всю жизнь мается мигренью, от которой у него глаза на лоб лезут; эта хворь когда-то помешала ему доучиться в коллеже; в результате бедняге пришлось заняться торговлей... А младший, Теофиль, вон тот рыжеватый недоносок с жидкой бороденкой, в свои двадцать восемь лет выглядит старичком; его донимают приступы кашля и бешенства. Он испробовал кучу всяких занятий, потом женился; молодая женщина, что идет впереди, – это его супруга Валери...

– Да я уже видел ее, – прервал его Октав. – Это дочь местного галантерейщика, не так ли? Но до чего же коварны эти дамские вуалетки: тогда она показалась мне хорошенькой... А на самом деле она всего лишь своеобразна – лицо какое-то бескровное, болезненное...

– Да, еще одна, которая не в моем вкусе, – самоуверенно заметил Трюбло. – Одни только глаза у нее великолепны; что ж, некоторым мужчинам только того и надо... Но до чего же тощая!

Хозяйка дома встала и радушно приветствовала Валери.

– Как, неужели господин Вабр не пришел с вами?! – воскликнула она. – И почему Дюверье не оказали нам честь своим визитом? А ведь они обещали прийти. Ах, как это дурно с их стороны!

Молодая женщина извинилась за свекра: почтенный возраст удерживает его дома, а к тому же он предпочитает работать по вечерам. Что же касается ее зятя и золовки, то они поручили ей извиниться перед хозяйкой дома: их пригласили на официальный прием, куда они не могли не пойти. Госпожа Жоссеран обиженно поджала губы. Уж она-то сама никогда не пропускала субботние приемы этих заносчивых соседей, которые сочли для себя позором тащиться к ней на пятый этаж. Разумеется, ее скромные «суаре» не идут ни в какое сравнение с их помпезными домашними концертами. Ну да ничего, главное – терпение! Когда обе дочери выйдут замуж, и зятя с их родней заполнят ее салон, она тоже начнет устраивать концерты с музыкой и хорами. И она шепнула на ухо Берте:

– Приготовься!

В комнате собралось около тридцати человек; гости сидели тесно, так как малую гостиную не открывали: она служила спальней для хозяйских дочерей. Новоприбывшие обменивались рукопожатиями с остальными. Валери села рядом с мадам Жюзер; тем временем Башляр и Гелен громко, не стесняясь, отпускали нелестные замечания в адрес Теофиля Вабра, которого величали «полным ничтожеством». В углу салона притулился Жоссеран; он робел в собственном доме, словно в гостях; его вечно теряли из виду даже тогда, когда он был на глазах у всех. Сейчас он с ужасом слушал историю, которую рассказывал один из его старых друзей: Бонно (он хорошо знал Бонно, бывшего старшего бухгалтера в управлении Северной железной дороги) прошлой весной выдал свою дочь замуж, и – что же вы думаете?! – он, Бонно, недавно узнал, что его зять, с виду вполне достойный господин, некогда работал клоуном в цирке и чуть ли не десять лет жил на содержании у какой-то цирковой наездницы...

– Тише, тише! – зашикали соседи, готовясь слушать музыку.

Берта подняла крышку фортепиано.

– Будьте снисходительны! – объявила госпожа Жоссеран. – Это небольшая скромная композиция... Господин Муре, вы, я думаю, любите музыку, подойдите ближе! Моя дочь исполняет эту пьеску довольно хорошо – о, разумеется, как любительница, но с душой, да-да, от всего сердца!

– Ага, попался! – пробормотал Трюбло. – Сейчас последует номер с музыкой.

Октаву поневоле пришлось подняться с места и встать около пианино. Видя, как госпожа Жоссеран увивается вокруг этого гостя, нетрудно было догадаться, что она заставила Берту играть специально для него.

– «Берега Уазы»! – объявила хозяйка дома. – Это и впрямь чудесная пьеса, простенькая, но поэтичная... Ну же, играй, моя дорогая, и не тушуйся. Надеюсь, господин Муре будет к тебе снисходителен.

Девушка, нимало не смущенная, начала играть. Мамаша не спускала с нее глаз – точь-в-точь сержант, готовый наградить оплеухой новобранца, нарушившего устав. Она была в отчаянии оттого, что инструмент, обезголосевший после пятнадцати лет ежедневных гамм, никак не мог соперничать с раскатистыми звуками рояля Дюверье; вдобавок ей вечно казалось, что дочь играет слишком тихо.

Уже с десятого такта Октав, который сосредоточенно кивал в такт музыке, перестал слушать. Он исподтишка разглядывал аудиторию, отмечая вежливо-рассеянное внимание мужчин и наигранный восторг дам, а на самом деле – короткую передышку людей, предоставленных самим себе, размышляющих о повседневных заботах, тень которых омрачала их усталые лица. Матери, несомненно, мечтали сейчас о замужестве дочерей и, судя по хищному оскалу, представляли себе будущих зятьев; это неистовое стремление снедало их, всех до одной, в этом салоне, под астматические вздохи фортепиано. Девицы, уставшие от напряжения, задремы-

вали, уронив голову и забыв держаться прямо. Октав пренебрегал этими незрелыми созданиями, его гораздо больше интересовала Валери: эта женщина в своем странном желтом платье с черными атласными вставками была откровенно некрасива, однако его взгляд, боязливый и все-таки замороженный, постоянно обращался к ней; а она, явно взбудораженная этой сумбурной музыкой, смотрела в пустоту с какой-то странной, безумной улыбкой.

И тут произошло неожиданное. Из передней донесся звонок, и в комнату бесцеремонно вошел новый гость.

– Ах, это вы, доктор! – воскликнула госпожа Жоссеран с плохо скрываемой злостью.

Доктор Жюйера жестом извинился за вторжение и замер на месте. В этот момент Берта в замедленном темпе, пианиссимо, сыграла пассаж, который общество наградило лстивым шепотом. Ах, это очаровательно! Изумительно! Мадам Жюзер буквально млела от восторга. Ортанс, которая переворачивала ноты, стоя рядом с сестрой, бесстрастно переживала этот поток дифирамбов, чутко вслушиваясь в тишину передней – не прозвучит ли там звонок, – а когда вошел доктор, от разочарования нечаянно надорвала страницу нот на пюпитре. Но вот внезапно пианино вновь содрогнулось под пальцами Берты, молотившими по клавишам: поэтичная мелодия завершилась бурным каскадом громких аккордов.

Наступила нерешительная пауза. Слушатели стряхивали с себя дрему, еще не понимая, закончилась ли пьеса. Потом разразилась буря аплодисментов.

– Очаровательно! Какой талант!

– Да, мадемуазель и впрямь первоклассная исполнительница! – воскликнул Октав, оторванный от своих наблюдений за аудиторией. – Никогда еще я не получал такого удовольствия.

– Не правда ли? – восторженно вскричала госпожа Жоссеран. – Должна признать, что она весьма недурно с этим справилась... Ах, боже мой, мы ведь ни в чем и никогда не отказывали нашей дорогой девочке, нашему сокровищу! И все таланты, которые ей захотелось развить, она развила... О, если бы вы знали ее поближе...

Гостиную снова заполнил нестройный хор голосов. Берта с полным спокойствием принимала комплименты, но не вставала из-за инструмента, ожидая, когда мать избавит ее от этого тяжелого испытания. А та уже рассказывала Октаву, с каким блеском ее дочь исполняет виртуозный галоп «Жнецы», как вдруг присутствующих испугали глухие удары, все сильнее и сильнее, словно кто-то пытался выломать дверь. Все умолкли, вопросительно глядя на хозяев дома.

– Что это? – испуганно спросила Валери; такие же удары звучали совсем недавно, ближе к концу исполнения пьесы.

Госпожа Жоссеран смертельно побледнела: судя по силе ударов, это ломился в дверь Сатюрнен. Ах, несчастный безумец! Мать уже представляла, как он врывается в комнату и нападает на гостей. Если он продолжит колотить в дверь, еще один жених будет потерян!

– О, это, верно, хлопает дверь в кухне! – воскликнула она с принужденной улыбкой. – Наша Адель никогда ее не закрывает... Иди-ка взгляни, Берта, что там такое.

Девушка тоже сразу поняла причину шума. Она встала и выбежала из комнаты. Удары тотчас прекратились, но она вернулась не сразу. Дядюшка Башляр, который бесцеремонно мешал исполнению «Берегов Уазы» громкими замечаниями, вконец расстроил сестру, крикнув Гелену, что ему надоела эта музыка: теперь пора выпить грогу. После чего они оба вернулись в столовую, с грохотом захлопнув за собой дверь.

– Ах, наш милый Нарсис такой оригинал! – сказала госпожа Жоссеран Валери и мадам Жюзер, сев между этими дамами. – У него только дела на уме! Вы знаете: он ведь заработал в этом году около ста тысяч франков!

Октав, наконец-то освободившись, поспешил подойти к Трюбло, дремавшему на диванчике. Рядом мужчины собрались вокруг доктора Жюйера, всю жизнь практиковавшего в этом квартале, человека заурядного, но в результате долгой практики ставшего опытным врачом, который принимал роды у присутствующих дам и лечил их дочерей. Он специализировался

на женских болезнях, и потому мужья присутствующих дам, желая получить бесплатную консультацию, то и дело уединялись с ним в уголке гостиной. В частности, например, Теофиль поведал ему, что у Валери накануне снова был припадок – она постоянно задыхалась, утверждая, что у нее к горлу подступает комок, – а заодно объявил, что и сам чувствует себя неважно, хотя его недомогание совсем иного рода. И перевел разговор на себя, поведав о собственных горестях. Сперва он изучал право, затем поработал в литейной мастерской, потом в кредитной конторе и, наконец, занялся фотографией; в настоящее время он уверял, что изобрел способ, позволяющий экипажам двигаться без лошадей, ну а пока суд да дело, из чистой любезности помогает одному из друзей сбывать его изобретение – так называемое флейтопьяно. Затем он вернулся к разговору о своей супруге: да, у них все не ладится, но это ее вина, она просто убивает его своими постоянными нервными припадками.

– Доктор, пропишите ей хоть что-нибудь! – умолял он с ненавистью в глазах, кашляя и содрогаясь в безутешном гневе своего бессилия.

Трюбло молча, с презрением смотрел на него, потом с беззвучной ухмылкой перевел взгляд на Октава. Тем временем доктор Жюйера утешал Теофиля общими словами: о, разумеется, он вылечит эту милую даму! В четырнадцать лет, в лавке ее родителей на улице Нёв-Сент-Огюстен, она уже страдала такими приступами удушья, и в ту пору он лечил ее от обмороков, которые кончались носовыми кровотечениями. Но Теофиль в отчаянии вспоминал, что в те времена девушка была куда более кроткой, хотя и недомогала, а теперь она просто терзает его, выдумывая бог весть что, а настроение у нее меняется по двадцать раз на дню. В ответ врач только сокрушенно покачал головой: что делать, замужество помогает далеко не всем женщинам.

– Черт побери! – прошептал Трюбло. – Папаша, который тридцать лет торговал иголками и нитками; мамаша с ее прыщавой физиономией, лавка – затхлая конура в старом Париже; ну откуда же там взяться здоровым дочерям?!

Октав слушал их с удивлением. Он уже начал презирать эту гостиную, куда поначалу вошел с робким восторгом провинциала. Но в нем проснулось любопытство, когда он заметил, что Кампардон, в свой черед, советуется с врачом, только совсем тихо, как разумный человек, не желающий никого посвящать в перипетии своего брака.

– А кстати, раз уж вы знаете этих людей, – спросил он у Трюбло, – объясните мне, от какой болезни страдает госпожа Кампардон?.. Я заметил, что все тут говорят о ней с сочувствием.

– Ах, дорогуша, – откликнулся тот, – да у нее просто...

И он шепотом, на ухо, ответил Октаву. Пока тот слушал, на его лице сперва мелькнула усмешка, потом растерянность, и наконец он изумленно спросил:

– Да может ли это быть?..

Но Трюбло поклялся, что это чистая правда. Он знает еще одну даму, оказавшуюся в таком же положении.

– Впрочем, – заключил он, – иногда бывает, что после родов...

И он снова перешел на шепот. Октав, убежденный его доводами, приуныл. Он-то воображал, что здесь его ждет романтическое приключение, а на самом деле архитектор, заводивший интрижки на стороне, предоставил ему право развлекать супругу, зная, что в любом случае ничем не рискует. И теперь молодые люди болтали друг с другом как сообщники, возбужденно перебирая интимные качества женщин и не заботясь о том, что их могут подслушать.

Как раз в ту же минуту мадам Жюзер делилась с хозяйкой салона впечатлениями об Октаве. Она находила его очень приличным молодым человеком и, без сомнения, подходящим женихом, но все же отдавала предпочтение господину Огюсту Вабру. А тот молча стоял в углу гостиной, страдая от ежевечерней мигрени и сознания своего ничтожества.

– Меня удивляет, моя милая, что вы не считаете господина Муре подходящим для вашей Берты. У этого молодого человека хорошее положение, он так рассудителен. И теперь ему нужна жена – я наверное знаю, что он хочет вступить в брак.

Госпожа Жоссеран с удивлением слушала ее. Она и в самом деле не думала об этом торговце новинками как о женихе. А Жюзер упорно гнула свою линию: невзирая на собственные горести, она обожала устраивать счастье других женщин и потому вникала во все сердечные истории этой семьи. Она утверждала, что Огюст не сводит глаз с Берты. Однако тут же объявила, сославшись на свое знание мужчин, что господин Муре не даст себя женить, тогда как милый господин Вабр – человек весьма сговорчивый, а главное, солидный. Тем не менее госпожа Жоссеран, обмерив этого последнего зорким взглядом, решительно объявила, что такой зять никак не украсит ее салон.

– Моя дочь терпеть его не может, – добавила она. – А я никогда не пойду против ее воли.

Какая-то долговязая тощая девица сыграла на пианино «фантазию на темы» из оперы «Белая дама». Поскольку дядюшка Башляр заснул в столовой, Гелен исполнил на своей флейте мелодию, имитирующую соловьиные трели. Впрочем, его никто не слушал: все присутствующие сплетничали о Бонно. Жоссеран был потрясен, прочие отцы воздымали руки, матери задыхались от возмущения. Как?! Оказывается, зять Бонно был клоуном?! Кому же после этого верить? – в ужасе вопрошали родители, мечтавшие пристроить дочерей; им уже мерещились зятя – бывшие каторжники в черных фраках. А дело объяснялось очень просто: Бонно был так рад пристроить наконец дочь, что удовольствовался скудными сведениями о женихе, несмотря на всю свою осторожность и опыт.

– Матушка, чай подан! – объявила Берта, распахивая вместе с Адель двери в столовую.

И пока гости медленно проходили туда, она шепнула матери:

– Ну, не могу больше!.. Он хочет, чтобы я сидела подле него и рассказывала сказки, а иначе грозитя все разнести вдребезги!

В столовой, на вытертой, далеко не белой скатерти уже был заботливо сервирован чай; вокруг бриоши, купленной в соседской булочной, были разложены птифуры и бутерброды. Зато на обоих концах стола красовались роскошные дорогие розы, искупавшие своей пышностью лежалое масло и черствые бисквиты. Гости восторженно заахали, скрывая проснувшуюся зависть: нет, решительно, эти Жоссераны лезут из кожи вон, лишь бы выдать замуж дочерей! И все они, завистливо поглядывая на букеты, жадно пили скверный чай и неосторожно набрасывались на черствые бисквиты и непеченную бриошь: после скудного ужина все только и мечтали о том, как улягутся спать с полным желудком. Тем из гостей, что не любили чай, Адель подавала смородиновый сироп в стаканчиках. Его восторженно хвалили.

Тем временем дядюшка храпел в углу комнаты. Его не стали будить и сделали вид, будто не замечают старика. Одна из дам заговорила о том, как утомительна торговля. Берта хлопотала, предлагая гостям тартинки, поднося чашки с чаем, спрашивая у мужчин, не добавить ли им сахару. Но ей было не охватить всех, и госпожа Жоссеран оглянулась в поисках Органс. Наконец она увидела старшую дочь в углу опустевшей гостиной; девушка разговаривала с каким-то мужчиной.

– Ах вот он, голубчик! – не сдержавшись, пробормотала госпожа Жоссеран. – Наконец-то пожаловал!

Гости зашептались. Это был тот самый Вердье, что вот уже пятнадцать лет жил с любовницей, но собирался жениться на Органс. Все присутствующие знали его историю; правда, девицы только молча переглядывались, но и остальные также воздерживались от сплетен из почтения к хозяевам. Октав, которого посвятили в суть дела, с интересом смотрел ему в спину. Трюбло был знаком с любовницей Вердье, бывшей уличной девкой, которая, по его словам, давно остепенилась и вела себя куда пристойнее многих добропорядочных дам: заботливо обихаживала своего сожителя, следила за чистотой его гардероба; он относился к ней

с чисто дружеской симпатией. Гости внимательно наблюдали из столовой за этой парой: Органс бурно, с озлоблением непорочной и строго воспитанной девицы, упрекала Вердые за опоздание.

– Надо же, смородинный сироп! – воскликнул Трюбло, увидев рядом с собой Адель, державшую поднос со стаканчиками.

Однако, понюхав сироп, отказался. Но пока служанка поворачивалась, сидевшая рядом толстая дама толкнула ее локтем, прижав к нему, и он свирепо ущипнул ее за ляжку. Адель, ухмыльнувшись, снова протянула ему поднос.

– Нет-нет, благодарю! – громко сказал он. – Не сейчас, после.

Дамы сидели вокруг стола, а мужчины ели, стоя за их стульями. Всеобщее оживление слегка улеглось, радостные возгласы постепенно стихали, рты были заняты едой. Начали звать запоздавших мужчин. Госпожа Жоссеран воскликнула:

– Ах, боже мой, о чем я только думала... Взгляните, господин Муре, вы ведь так любите искусство!

– Берегитесь, – шепнул ему Трюбло, хорошо изучивший обычаи этого дома, – сейчас вас будут прельщать акварелью!

Однако это была не акварель, а нечто иное. На столе как бы случайно оказалось фарфоровое блюдо на новенькой блестящей бронзовой подставке, с изображением «Девы над разбитым кувшином»¹, в бледных тонах от светло-лилового до небесно-голубого. Берта польщенно улыбалась в ответ на похвалы гостей.

– О, мадемуазель прямо-таки блистает талантами, – великодушно сказал Октав. – Такие нежные краски, а главное, как верно схвачено!

– Да, что касается рисунка, я отвечаю за точность! – торжествующе подхватила госпожа Жоссеран. – Тут ни прибавить, ни убавить... Правда, Берта скопировала это с гравюры, а не с самой картины. В Лувре слишком много обнаженной натуры, да и народ там всякий толчется...

Говоря это, она понизила голос, желая внушить молодому человеку, что ее дочь, пусть и даровитая художница, никогда не опустится до неприличия. Впрочем, Октав, вероятно, показался ей слишком хладнокровным, она чувствовала, что не достигла цели, и начала поглядывать на него с подозрением; тем временем Валери и мадам Жюзер, пившие уже по четвертой чашке чая, восторженно ахали, любуясь этой росписью.

– А вы все еще интересуетесь *этой*, – шепнул Трюбло Октаву, заметив, как пристально тот разглядывает Валери.

– Да... верно, – ответил тот слегка смущенно. – Как странно, она сейчас так хороша. И сразу видно, что это страстная натура... Как вы думаете, мне стоит рискнуть?

Трюбло надул щеки:

– Пылкая? Да разве так сразу определишь?... Станный у вас вкус! В любом случае это будет получше, чем жениться на малютке.

– На какой малютке? – забывшись, вскричал Октав. – Неужто вы думаете, что я так просто дам себя взнуздать? Да никогда в жизни! Мы, марсельцы, не женимся, милый мой!

В этот момент к ним подошла госпожа Жоссеран, и услышанное поразило ее в самое сердце. Еще одна проигранная битва! Еще один потерянный вечер! Удар был таким жестоким, что ей пришлось опереться на спинку стула, и ее отчаянный взгляд упал на разоренный стол, где от бриюши осталась одна только подгоревшая верхушка. Госпожа Жоссеран пережила много таких поражений, но это было уже чересчур, и она поклялась себе страшной клятвой, что никогда больше не станет кормить людей, которые и приходят-то к ней лишь для того, чтобы набить себе брюхо. Так она и стояла, потрясенная, убитая, озирая столовую и тщетно

¹ «Дева над разбитым кувшином» – картина французского художника Жан-Батиста Грёза (1725–1805).

выискивая среди мужчин того, кому сможет отдать свою дочь. И вдруг заметила Огюста, который робко жался к стене, ничего не взяв со стола.

Как раз в этот момент Берта с улыбкой направилась к Октаву, протягивая ему чашку чая. Она, как послушная дочь, продолжала осаду. Но мать схватила ее за плечо и шепотом обозвала круглой душой.

– Отнеси эту чашку господину Вабру, он ждет уже целый час, – громко сказала она с сияющей улыбкой. А затем прошептала дочери на ухо, грозно сверкая глазами: – И обходись с ним полюбезнее, иначе будешь иметь дело со мной!

Берта пришла было в растерянность, но тут же оправилась: такое порой случалось по несколько раз за вечер. Она поднесла чашку чая Огюсту с улыбкой, предназначавшейся до этого Октаву, и завела с ним любезную беседу о лионских шелках, изображая обходительную особу, которая прелестно выглядела бы за прилавком магазина. У Огюста слегка задрожали руки, он залился краской; этим вечером головная боль терзала его сильнее обычного.

Некоторые гости из вежливости ненадолго вернулись в салон. Они наелись, теперь можно было уходить. Начали искать Вердые, но оказалось, что он уже исчез, и юные девицы с огорчением унесли с собой всего лишь его мимолетный образ со спины. Кампардон не стал ждать Октава и ретировался вместе с врачом, которого еще ненадолго задержал на лестничной площадке, желая выспросить, действительно ли ему больше нечего надеяться на выздоровление жены. Во время чая одна из ламп погасла, распространив по комнате едкий запах гари, а вторая, с чающим фитилем, освещала комнату таким мрачным, потусторонним светом, что даже семейство Вабр встало из-за стола, несмотря на любезности, которые расточала им госпожа Жоссеран. Октав обогнал их в передней, где его ждал сюрприз: Трюбло, надевавший шляпу, бесследно исчез – не иначе как сбежал через кухонный коридор.

– Вот так так, куда же он подевался? Неужто прошел черным ходом? – подивился Октав, но решил не придавать этому значения.

Рядом стояла Валери, искавшая свой крепдешиновый шарф. Братья Теофиль и Огюст, не обращая на нее внимания, уже спускались по лестнице. Молодой человек разыскал шарф и подал ей с той восхищенной улыбкой, с какой обслуживал красивых покупательниц в «Дамском Счастье». Она посмотрела на него, и он мог бы поклясться, что в ее взгляде, устремленном на него, вспыхнул огонек. Но она коротко сказала:

– Вы очень любезны, сударь.

Мадам Жюзер, уходившая последней, одарила их обоих нежной и скромной улыбкой.

А Октав, возбужденный донельзя, вернулся в свою комнату, взглянул в зеркало и сказал себе:

– Черт возьми, а не попытаться ли!

Тем временем госпожа Жоссеран молча бродила в опустевшей, разоренной квартире, по которой будто пронесся жестокий ураган. Она сердито захлопнула крышку пианино, погасила вторую лампу, затем прошла в столовую и начала тушить свечи, дуя на них так свирепо, что дрожали подсвечники. Вид разоренного стола с грудями пустых тарелок и чашек усугубил ее раздражение; она ходила вокруг него, бросая разъяренные взгляды на старшую дочь: Органс сидела, спокойно доедая подгоревшую корку бриоши.

– Ты снова злишься, мама, – сказала девушка. – Что случилось, опять не повезло?.. Лично я очень довольна. Он покупает *ей* рубашки, лишь бы выдворить ее из дому.

Мать молча пожала плечами.

– Ну и что? Ты хочешь сказать, что это ничего не доказывает? Ладно, устраивай свои дела, а я уж сама устрою свои... Господи, до чего же мерзкий вкус у этой сдобы! Не знаю, какими неразборчивыми нужно быть, чтобы наесться подобной мерзостью!

Жоссеран, которого вконец изнурили «суаре» жены, рухнул было на стул, но, побоявшись, что она выместит на нем свою ярость, придвинулся к Башляру и Гелену, сидевшим

напротив Ортанс. Дядюшка уже очнулся от дремоты, обнаружил рядом с собой бутылочку рома и осушил ее, с горечью вспоминая о двадцати франках:

– Меня огорчила не столько потеря денег, сколько это нахальство... Ты же знаешь, как я отношусь к женщинам, – последнюю рубашку готов им отдать, но терпеть не могу, когда у меня вымогают деньги... Стоит кому-то начать клянчить, как я прихожу в ярость, и от меня гнилой редиски не получишь.

Однако едва сестра собралась напомнить ему о данном обещании, как он раскричался:

– Помалкивай, Элеонора! Я сам знаю, что должен сделать для малышки... Но пойми одно: когда женщины выпрашивают деньги, это сильнее меня, ни одна из них у меня не задержалась, верно, Гелен?.. И потом, отчего меня здесь третируют? Леон даже не соизволил поздравить меня с именинами!

Госпожа Жоссеран, сжав кулаки, снова зашагала по комнате. Он прав: ох уж этот Леон... чего только не обещал, а бросил ее, как и все остальные. Вот уж кто не пожертвовал бы вечером ради того, чтобы выдать замуж своих сестер! Но тут она заметила птифур, свалившийся с блюда, и припрятала его в ящик буфета. Берта выпустила Сатюрнена из заточения и привела в столовую. Она успокаивала брата, а тот лихорадочно метался из стороны в сторону, подозрительно оглядывая и чуть ли не обнюхивая все углы, с усердием собаки, слишком долго просидевшей взаперти.

– Вот дурачок! – говорила Берта. – Воображает, будто меня отдали замуж. И теперь ищет «мужа»! Давай-давай, бедняга Сатюрнен, можешь искать сколько угодно... Я же тебе говорила, что свадьба расстроилась! Ты ведь прекрасно знаешь, что свадьбы всегда устраиваются.

Но тут ее мать взорвалась:

– Ну так вот: я вам обещаю, что на сей раз она не расстроится, хотя бы мне пришлось притащить сюда жениха на аркане! И пускай он расплачивается за всех остальных. Да-да, так и будет, дорогой супруг, и нечего на меня пялиться и делать вид, будто вы не понимаете; этот брак состоится даже без вашего согласия, пусть жених и не придется вам по нраву... Слышишь, Берта, тебе нужно только нагнуться и подобрать этого голубчика!

А Сатюрнен как будто не слышал ее: теперь он заглядывал под стол. Девушка указала на него матери, но та лишь отмахнулась, давая понять, что сына по такому случаю спрячут подальше. И Берта прошептала:

– Значит, решено – это господин Вабр? Ну и ладно, какая разница?! Жаль только, что мне ничего не оставили поесть!

IV

На следующий же день Октав приступил к обольщению Валери. Он разузнал все ее привычки, время, когда мог встретить ее на лестнице, и чаще обычного поднимался к себе в комнату, пользуясь тем, что ходил ужинать к Кампардонам, или под каким-нибудь предлогом сбега ненадолго из «Дамского Счастья». Вскоре он установил, что молодая женщина водит своего ребенка в Тюильри и около двух часов дня проходит по улице Гайон. Теперь в это время он появлялся на пороге магазина и, дождавшись ее появления, приветствовал одной из своих обаятельных улыбок дамского угодника. Валери всякий раз отвечала ему вежливым кивком, но никогда не останавливалась, хотя он видел огонек страсти, таившийся в ее черных глазах, и находил поощрение своим авансам в ее бледности и грациозном покачивании стана. У него давно уже составилась план – дерзкий план опытного соблазнителя, привыкшего к легким победам над добродетелью юных продавщиц. Оставалось всего лишь заманить Валери к себе в комнату на пятом этаже; парадная лестница об эту пору была пуста, наверху их там никто не застанет, и Октав уже заранее посмеивался над высокоморальными запретами архитектора приводить к себе женщин с улицы: к чему такие хлопоты, если можно овладеть какой-нибудь из них, не выходя из дому?!

Однако было одно затруднение, беспокоившее Октава. Кухня Пишонов располагалась через коридор от их столовой, что заставляло хозяев постоянно держать дверь открытой. В девять часов утра муж уходил в свою контору и возвращался только к пяти вечера, а по четным будним дням он еще занимался своими конторскими книгами после ужина, с восьми часов до полуночи. Впрочем, молодая женщина, стеснительная и нелюдимая, заслышав шаги Октава, всякий раз захлопывала свою дверь, и он едва успевал разглядеть, да и то лишь со спины, ее фигуру и блеклые волосы, стянутые в крошечный пучок. Иногда он успевал заметить в дверную щель дешевую, но чистенькую мебель, белые занавески, казавшиеся серыми в тусклом свете, сочившемся из окна, которое Октав не мог видеть из коридора, и детскую кроватку в глубине второй комнаты – словом, все, что составляло монотонное существование женщины, которая с утра до вечера неукоснительно выполняла одни и те же семейные обязанности. И никогда ни звука; ребенок казался таким же тихим и вялым, как его мать; лишь изредка из комнаты доносилась монотонная мелодия, которую мадам Пишон напевала часами, слабеньким, еле слышным голосом. Но Октав буквально возненавидел эту «глупую курицу», как он ее называл. Ему казалось, что она за ним шпионит. Во всяком случае, ясно было, что Валери никогда не сможет подняться к нему, если дверь Пишонов будет вот так постоянно отворена.

Впрочем, он полагал, что дела его не так уж плохи. Однажды в воскресенье, когда муж Валери отсутствовал, Октав успел сойти на площадку второго этажа в тот момент, когда молодая женщина в халате вышла из квартиры своей невестки; ей поневоле пришлось задержаться около него на несколько минут, и они обменялись несколькими любезными словами. Теперь он надеялся в следующий раз попасть в ее квартиру. А дальнейшее не представит трудности с женщиной такого темперамента.

В тот вечер, за ужином у Кампардонов, Октав завел разговор о Валери – он надеялся разузнать о ней побольше у хозяев. Но поскольку их беседа проходила в присутствии Анжель, которая бросала мрачные взгляды на Лизу, пока та с непроницаемым видом подавала запеченную баранью ногу, супруги сперва рассыпались в похвалах этой семье. Заодно архитектор снова начал восхвалять респектабельность всего их дома с таким тщеславным пылом, словно это укрепляло его личную репутацию.

– Эти Вабры, милый мой, весьма почтенные люди... Вы ведь видели их у Жоссеранов. Муж – человек неглупый, у него полно всяческих идей, и в конце концов он подыщет себе

какое-нибудь дельце повыгоднее. Что же касается жены, то в ней есть особый шарм, как выражаемся мы, художники.

Госпожа Кампардон, которой со вчерашнего дня нездоровилось сильнее обычного, полулежала в кресле; впрочем, страдания не мешали ей поедать большие куски слабопрожаренного, сочащегося кровью мяса. Она плаксиво шептала в свой черед:

– Ах, этот бедный господин Теофиль... он страдает совсем как я и точно так же еле таскает ноги... И все-таки Валери – хорошая жена: ну легко ли бесконечно терпеть рядом с собой человека, которого треплет лихорадка; из-за этой болезни он всегда и обращается с ней так грубо и бесцеремонно...

За десертом Октав, сидевший между архитектором и его женой, узнал больше, чем надеялся. Забыв о присутствии Анжель, супруги говорили прозрачными намеками, подчеркивая скрытый смысл многозначительными взглядами, а когда не могли подыскать приличное слово, наклонялись к собеседнику и шептали непристойности на ухо. Их разговор сводился к тому, что Теофиль – кретин и импотент, сполна заслуживший то, во что превратила его жена. Что же касается Валери, то она ничуть не лучше мужа и вела бы себя так же скверно, даже если бы супруг ее удовлетворял, – такая уж у нее натура. В их квартале всем известно, что через два месяца после свадьбы, убедившись, что от мужа ей никогда не забеременеть, и побоявшись лишиться своей части наследства от старика Вабра, если Теофиль умрет, она родила малыша Камиля от приказчика мясной лавки с улицы Сент-Анн.

В заключение Кампардон шепнул на ухо Октаву:

– Словом, настоящая истеричка, вот так-то, милый мой!

В его словах звучало чисто буржуазное упоение чужой непристойностью, плотоядная ухмылка отца семейства, чье воображение, вырвавшись на свободу, тешится картинами чужого разврата. Анжель уткнулась в тарелку, стараясь не смотреть на Лизу, чтобы не засмеяться, словно она подслушала разговор родителей. Однако собеседники сменили тему, заговорив о семье Пишон, и вот тут-то они не поскупились на похвалы.

– О, это такие милые люди! – твердила госпожа Кампардон. – Когда Мари вывозит на прогулку свою Лилит, я иногда позволяю ей брать с собой нашу Анжель. А уж вы можете не сомневаться, господин Муре, что я не доверю свою дочь кому попало, я должна быть абсолютно убеждена в порядочности такого человека... Ты ведь очень любишь Мари, не правда ли, Анжель?

– Да, мама, – ответила девочка.

Тут последовали и другие подробности. Трудно найти более воспитанную женщину, с такими строгими правилами. Так стоит ли удивляться тому, что ее муж совершенно счастлив?! Эта молодая пара так мила, так скромна, они обожают друг друга, и ни от него, ни от нее никогда не услышишь резкого слова!

– Впрочем, им и не позволили бы жить в нашем доме, если бы они вели себя дурно, – важно заявил архитектор, начисто забывший свои сплетни насчет Валери. – Мы хотим, чтобы здесь, рядом с нами, обитали только порядочные люди... Честное слово, я тут же отказался бы от квартиры, если бы моей дочери грозило встречаться на лестнице с сомнительными особами.

В тот вечер Кампардон собирался тайком повести кухню Гаспарину в «Оперá Комик». Поэтому сразу после ужина он поспешил в переднюю за шляпой, объявив, что у него важное дело, которое задержит его допоздна. Тем не менее Роза, вероятно, знала правду: когда ее супруг подошел к ней, чтобы поцеловать с обычной нежностью, Октав услышал, как она шепнула с привычной, материнской нежностью:

– Приятного вечера, дорогой, и смотри не простудись, когда выйдешь на улицу.

На следующий день Октаву пришла в голову мысль: а не завязать ли ему дружбу с мадам Пишон, оказывая ей услуги, как положено добрым соседям; таким образом, если она когда-нибудь углядит Валери на их этаже, то закроет на это глаза. И в этот же день ему представился удобный случай. Госпожа Пишон собиралась на прогулку с Лилит, которой было полтора

года; она посадила дочку в плетеную ивовую коляску, неизменно вызывавшую недовольство Гура: консьерж был решительно против того, чтобы коляску возили по парадной лестнице, ее надлежало спускать и поднимать только по черной. На беду, дверь, ведущая в коридор, была слишком узкой, и приходилось каждый раз снимать с коляски ручку и колесики, а это была работа не из легких. Как раз в тот день Октав, вернувшийся из магазина, увидел на лестничной площадке соседку, которая никак не могла отвинтить колесики, – в перчатках ей было трудно с ними справиться. Увидев, что позади стоит мужчина, ожидающий, когда она освободит проход, бедная женщина совсем растерялась; у нее затряслись руки.

– Сударыня, стоит ли вам так мучиться с этой коляской? – спросил наконец Октав. – Гораздо проще было бы поставить ее в глубине коридора, за моей дверью.

Женщина, онемевшая от робости, не ответила; она так и сидела на корточках, не в силах подняться. Октав увидел, что ее лицо под шляпкой, шею и уши заливают горячий румянец. Он настойчиво повторил:

– Уверю вас, сударыня, меня это нисколько не стеснит.

Вслед за чем, не ожидая ответа, поднял коляску и легко, без усилий, внес ее в коридор. Ей поневоле пришлось идти следом, но она была так смущена, так напугана этим происшествием, столь необычным в ее серенькой повседневной жизни, что позволила ему действовать, несвязно лепеча только:

– О боже мой, сударь, вы слишком любезны... Мне так неловко вас затруднять... Мой муж будет очень доволен...

Затем она вошла к себе в комнату и на сей раз плотно прикрыла за собой дверь, словно чего-то стыдилась. Октав подумал: а ведь она глуповата. Коляска очень стесняла его, мешая распахнуть дверь комнаты: теперь ему приходилось протискиваться к себе через узкую щель. Зато соседку он, видимо, покори́л, тем более что Гур из уважения к влиятельному жильцу – Кампардону – милостиво согласился с этим неудобством, позволив держать коляску в темном углу коридора.

По воскресным дням родители Мари – супруги Вьюм – приходили к ним в гости на целый день. В следующее воскресенье Октав, выйдя из своей комнаты, увидел все семейство за столом: они пили кофе. Он ускорил было шаг, стараясь незаметно пройти мимо их двери, но тут молодая женщина нагнулась к мужу, что-то шепнула ему на ухо, и тот поспешно встал с места со словами:

– Господин Муре, прошу меня простить, я мало бываю дома и еще не успел вас поблагодарить. Не могу выразить, как я был бы счастлив...

Октав тщетно отказывался от приглашения – в конечном счете ему все же пришлось войти. И хотя он уже выпил кофе, ему буквально навязали еще одну чашку. В знак глубокого уважения гостя посадили между господином и госпожой Вьюм. Напротив, по другую сторону круглого стола, сидела Мари, до того сконфуженная, что ее лицо то и дело вспыхивало ярким румянцем. Октав взглянул на нее повнимательней: никогда еще она не выглядела такой довольной. Однако, как сказал бы Трюбло, это был не его идеал: несмотря на красивые, тонкие черты лица, она показалась ему неказистой – плоская фигура, жидкие волосы... Постепенно освоившись с гостем, Мари начала со смехом вспоминать эпизод с коляской – эта тема ей не надоедала.

– Ах, Жюль, если бы ты видел, как господин Муре занес ее, прямо на руках... О, ну просто в один миг, я и опомниться не успела!

Пишон снова рассыпался в благодарностях. Это был высокий худой малый болезненного вида, уже ссутулившийся от бесконечного сидения в конторе; в его блеклых глазах застыло покорное, тупое выражение, как у цирковой лошади.

– О, прошу вас, не будемте больше говорить об этом! – взмолился наконец Октав. – Поверьте, оно того не стоит... Мадам, у вас замечательный кофе, я никогда еще такого не пил.

Мари снова залилась румянцем, у нее порозовели даже руки, не только лицо.

– Вы ее испортите своими похвалами, – важно заметил господин Вьюом. – Кофе у нее, конечно, хорош, но я пивал и получше. Посмотрите, как она возгордилась!

– Гордость – плохая черта! – объявила мадам Вьюом. – Мы всегда приучали нашу дочь к скромности.

Супруги Вьюом, низкорослые и сухощавые, с поблекшими, серыми лицами, выглядели совсем дряхлыми; жена носила тесное черное платье, муж был одет в поношенный редингот, на котором выделялась ярко-красная орденская розетка.

– Знаете, – продолжал старик, – я получил эту награду в возрасте шестидесяти лет, в день моей отставки, после того как тридцать девять лет отработал младшим письмоводителем в Министерстве народного образования. Так вот, заметьте: в тот вечер я отужинал ровно так же, как и во все предыдущие дни, и даже это отличие не заставило меня изменить своим привычкам... Я честно заслужил свою награду, знал это и чувствовал одну только благодарность.

Вся жизнь старика была как на ладони, и ему хотелось, чтобы об этом знали. После двадцати пяти лет усердной службы он получал четыре тысячи франков в год. Таким образом, его пенсия составила две тысячи. Однако ему пришлось продолжать работать в качестве экспедитора, с жалованьем полторы тысячи франков, так как у них родилась Мари; девочка появилась на свет очень поздно, когда мадам Вьюом уже и не надеялась иметь детей. И теперь, когда старики пристроили дочь, они жили на эту пенсию, экономя каждый грош, на улице Дюрантен, на Монмартре, где все было дешевле, чем в центре города.

– Мне уже семьдесят шесть лет, вот так-то! – объявил он в заключение. – А это мой зять, прошу любить и жаловать!

Пишон молча, с усталым видом, смотрел на тестя и его награду. Да, такой же будет и его история – если, конечно, повезет. Он был младшим сыном владелицы фруктовой лавки, которая продала ее, чтобы сын мог получить степень бакалавра, поскольку весь их квартал считал юношу очень способным; мать умерла в бедности, за неделю до того, как он получил диплом бакалавра в Сорбонне. После трехлетней жизни впроголодь в лавке дяди ему несказанно повезло попасть на службу в министерство, где у него были хорошие виды на будущее; к тому времени он уже был женат.

– Человек выполняет свой долг, а правительство свой, – пробормотал он, мысленно прикинув, что ему осталось проработать еще тридцать шесть лет, прежде чем удастся получить такую же награду и две тысячи франков пенсии, как у тестя. Затем он обратился к Октаву: – Видите ли, дети... они обходятся дорого.

– Верно, – подхватила мадам Вьюом. – Будь у нас еще один ребенок, мы никогда не свели бы концы с концами... Вспомните, Жюль, какое условие я поставила, отдавая за вас Мари: только один ребенок, не больше, иначе мы поссоримся!.. Это только рабочие плодят детей, как куры цыплят, не беспокоясь о том, как их прокормить. Впрочем, они попросту выставляют ребятишек на улицу, где эти несчастные бродят, как дикие звери, – не могу смотреть на них без отвращения!

Октав взглянул на Мари, полагая, что такая деликатная тема заставит ее стыдливо покраснеть. Но нет, ее лицо осталось таким же бледным, и она с простодушием невинной девушки кивала, слушая рассуждения матери. Ему стало смертельно скучно, но он не знал, каким образом сбежать отсюда. Эти люди, сидевшие в тесной, холодной столовой, привыкли проводить так послеобеденное время, обмениваясь каждые пять минут тягучими рассуждениями, посвященными только их делам. Даже игра в домино казалась им слишком азартной.

Госпожа Вьюом продолжала излагать свои соображения. После долгого молчания, которое ничуть не смутило остальных членов семьи, как будто им нужна была пауза, чтобы привести в порядок мысли, она заговорила снова:

– У вас ведь нет детей, господин Муре? Но когда-нибудь они будут... Ах, вы не представляете, какая это тяжкая ответственность, особенно для матери! Взять хоть меня: когда я родила эту малышку, мне было уже сорок девять лет, а в этом возрасте женщина, к счастью, умеет себя вести. Мальчики – они растут сами по себе, но воспитать девочку!.. Слава богу, мне удалось выполнить свой материнский долг, да, удалось!

И она принялась вкратце излагать свою систему воспитания. Во-первых, пристойное поведение. И никаких игр на лестнице – малышка должна находиться дома, под строгим надзором, ведь у этих девчонок только дурное на уме. Двери должны быть заперты, окна наглухо закрыты, никаких сквозняков, ничего, что приносит с улицы всякие мерзости. На прогулках нужно крепко держать ребенка за руку, приучать девочку ходить с опущенными глазами, чтобы избавить ее от всяких непристойных зрелищ. Не злоупотреблять религиозным воспитанием – ребенок должен получать ровно столько, чтобы это служило ему моральным тормозом. Затем, когда девочка вырастет, нанимать ей домашних учительниц, никоим образом не отдавая ее в пансион, – эти заведения развращают даже самые невинные души; более того, присутствовать на домашних уроках, следить за тем, чтобы она не услышала чего-нибудь недозволенного; разумеется, прятать от нее газеты и не допускать в библиотеку.

– Нынешние девушки и без того узнают слишком много лишнего! – заключила старая дама.

Пока мать разглагольствовала, Мари сидела, устремив взгляд в пространство. Ей вспоминалась тесная, уединенная квартирка на улице Дюрантен, узкие комнаты, где ей не разрешали даже подходить к окну. До замужества ее жизнь представляла собою длинное, нескончаемое детство со сплошными запретами, смысла которых она не понимала, с зачеркнутыми строчками в модных журналах (эти черные линии заставляли ее краснеть) и текстами уроков с великим множеством купюр, которые приводили в недоумение даже самих учительниц, когда она начинала их расспрашивать. Впрочем, детство это было вполне мирным, подобным ленивой жизни растения в жаркой теплице, где разбуженные мечты и повседневные события вырождались в невнятные, блеклые образы. Вот и сейчас, когда она глядела перед собой, предаваясь воспоминаниям, у нее на губах играла улыбка девочки, сохранившей младенческую невинность даже в браке.

– Вы не поверите, – сказал господин Вьюом, – но наша дочь до восемнадцати лет не прочитала ни одного романа... Не правда ли, Мари?

– Да, папа.

– У меня дома, – продолжал ее отец, – есть один роман Жорж Санд, в прекрасном переплете, и я, невзирая на опасения матери Мари, решил позволить дочери прочесть его за несколько месяцев до ее свадьбы. Это «Андре»², совершенно безобидное сочинение, полностью вымышленная история, очень полезная для духовного развития... Лично я стою за либеральное образование. Литература, несомненно, имеет свои права на существование... И вот эта книга, сударь, произвела на мою дочь потрясающее впечатление. Она даже плакала по ночам, во сне: вот вам доказательство того, что только чистые, неиспорченные души способны понять гения.

– Ах, это так прекрасно! – прошептала молодая женщина; у нее даже заблестели глаза.

Но когда господин Пишон изложил свое кредо – никаких романов до свадьбы, все романы только после свадьбы, – его супруга покачала головой. Лично она никогда ничего не читала и прекрасно жила без этого. Но тут Мари робко заговорила о своем одиночестве:

² «Андре» (1835) – роман Жорж Санд, посвященный истории любви молодого дворянина Андре и очаровательной молодой девушки Женевьевы, которая зарабатывает на жизнь, делая искусственные цветы. Влюбленный Андре становится учителем Женевьевы, открывает ей науки и поэзию, однако не способен противостоять воле сурового отца, который резко восстает против выбора сына.

– Ах, боже мой, я иногда открываю какую-нибудь книжку. Правда, их выбирает для меня Жюль в библиотеке пассажа Шуазель... Если бы еще я могла играть на фортепиано!

Октав, который давно уже собирался вставить слово в эту беседу, воскликнул:

– Как, неужели вы не играете на фортепиано?!

Наступила неловкая пауза. Потом родители заговорили о череде тягостных обстоятельств, не желая признаться, что попросту испугались расходов на музыку. Впрочем, госпожа Вюйом утверждала, что Мари пела чуть ли не с пеленок и даже в детстве знала множество прелестных романсов; ей достаточно было хоть раз услышать мелодию, и она ее тут же запоминала; в доказательство мать привела песню об Испании, где пленная дева тосковала о своем возлюбленном: малышка исполняла ее так трогательно, что вызывала слезы даже у самых черствых слушателей. Однако сама Мари выглядела печальной и не смогла удержать крик души, указав на дверь соседней комнаты, где спала ее дочка:

– Ах, я непременно буду учить Лилит играть на фортепиано, чего бы мне это ни стоило!

– Ты сперва подумай о таком же воспитании, какое мы дали тебе, – строго сказала госпожа Вюйом. – Я, конечно, не против музыки – она пробуждает благородные чувства. Однако прежде всего ты должна зорко следить за дочерью, ограждать ее от всех вредных влияний, стараться, чтобы она сохранила детскую невинность...

Старая дама неустанно поучала дочь, особенно подчеркивая благое влияние религии, указывая, сколько раз в месяц положено ходить на исповедь, какие мессы необходимо посещать – словом, делать все, что необходимо, ради благопристойности. Вот тут-то Октав, которому до смерти наскучила эта беседа, «вспомнил» о назначенной встрече и объявил, что ему пора идти. У него гудела голова от этих нудных рассуждений, и он предвидел, что они продолжатся до конца вечера. Словом, он сбежал, оставив супругов Вюйом и Пишон за столом, где они, верно, собирались и дальше вести все те же беседы, что и каждое воскресенье, неспешно попивая кофе. Когда он уже откланивался, Мари вдруг, без всякой причины, залилась краской.

С того дня Октав по воскресеньям старался поскорее проскользнуть мимо двери соседей, особенно когда из-за нее доносились дребезжащие голоса супругов Вюйом. Впрочем, его мысли были целиком заняты победой над Валери. Увы, несмотря на пламенные взгляды, которые, как воображал Октав, предназначались ему, она держалась с ним необъяснимо холодно, что он расценивал как бессердечное кокетство. Однажды днем он по чистой случайности встретил ее в саду Тюильри, и она спокойно заговорила с ним о вчерашней грозе; это окончательно убедило его, что она хитрая, опытная кокетка. А потому Октав постоянно торчал теперь на лестнице, надеясь улучшить момент и вторгнуться в ее квартиру, где решил вести себя напористо и грубо.

Зато Мари теперь при каждой встрече улыбалась ему и краснела. Они только здоровались как добрые соседи. Однажды утром ему пришлось подняться, чтобы передать ей письмо по просьбе консьержа, которому не хотелось затруднять себя восхождением на пятый этаж, и он застал Мари в полной растерянности: она усадила Лилит в одной сорочке на круглый стол и пыталась ее одеть.

– Что у вас тут случилось? – спросил молодой человек.

– Да вот никак не справлюсь с малышкой, – ответила Мари. – Она капризничала, и я по глупости вздумала переодеть ее. А теперь прямо не знаю, что делать, ничего не получается!

Октав удивленно взглянул на нее. Она вертела в руках детскую юбочку, ища застежки. Потом объяснила:

– Понимаете, обычно ее отец по утрам, перед уходом, помогает мне одевать дочку... Потому что я сама никак не могу разобраться в ее одежках. Мне это неприятно, я раздражаюсь...

Тем временем малышка, уставшая сидеть в одной рубашке и напуганная видом Октава, опрокинулась на стол, барахтаясь и отбиваясь от матери.

– Осторожно, она упадет! – крикнул Октав.

Это была настоящая катастрофа. Мари словно остолбенела, не смея дотронуться до ребенка; она смотрела на дочку с изумлением девственницы, не понимавшей, откуда та взялась. Казалось, она боится повредить ей что-нибудь, и в ее неловкости чувствовалось смутное отвращение к этому живому детскому тельцу. Однако с помощью Октава, который ее успокаивал, ей все же удалось одеть Лилит.

– Как же вы будете справляться, когда у вас будет дюжина детей? – со смехом спросил он.

– Нет-нет, у нас их больше не будет, – испуганно ответила она.

Однако он стал подшучивать над ней: напрасно она так в этом уверена, детишки появляются на свет божий так быстро, только успевай пеленать!

– Нет, ни за что! – упрямо твердила Мари. – Вы ведь слышали, что тогда сказала мама. Она строго запретила моему мужу... Вы ее плохо знаете: если у нас родится еще один, она будет устраивать скандал за скандалом.

Октава позабавило то, что она так уверенно это утверждает. Он побудил ее к откровенности, но это ее ничуть не смутило. Впрочем, она послушно исполняла все, что захочет муж. Да, разумеется, она любит детей, и, если он пожелает завести ребенка, она не станет возражать. Под этим смирением и готовностью подчиняться приказам угадывалось равнодушные женщины, в которой еще не пробудились материнские чувства. Лилит занимала ее ровно так же, как домашнее хозяйство, которое она вела из чувства долга. Но, вымыв посуду и сходяв с малышкой на прогулку, она вновь погружалась в прежнюю жизнь, в пустое сонное существование, отмеченное смутной надеждой на радость, которая так и не приходила. Когда Октав спросил, не наскучило ли ей постоянное одиночество, Мари очень удивилась: нет-нет, она никогда не скучает, дни проходят сами по себе, так незаметно, что она, ложась спать, даже не может вспомнить, чем нынче занималась. А по воскресеньям они с мужем иногда отправляются на прогулку; потом их навещают родители, и еще она читает. Ах, если бы от чтения у нее не болела голова, она занималась бы этим с утра до вечера – теперь, когда ей позволили читать все, что угодно.

– Самое печальное то, что у них там, в пассаже Шуазель, нет ничего стоящего... Я хотела взять и перечитать «Андре» – когда-то я плакала над этой книгой. Ну так вот: как раз ее-то у них и украли... А свой экземпляр отец мне не дает – боится, что малышка порвет там гравюры.

– Позвольте! – воскликнул Октав. – У моего друга Кампардона есть полное собрание сочинений Жорж Санд. Я попрошу у него для вас «Андре».

Мари залилась краской, у нее радостно вспыхнули глаза. О, как он любезен! И когда Октав ушел, она долго еще стояла перед Лилит, с праздно опущенными руками, без единой мысли – точно так же, как проводила все свои дни, с утра до прихода мужа.

Она терпеть не могла шить и только вязала крючком одно-единственное изделие, которое постоянно валялось неоконченным где-нибудь в комнате.

На следующий день, в воскресенье, Октав принес Мари книгу. Пишона не было дома: он вышел, чтобы оставить поздравительную визитную карточку в доме одного из своих начальников. Войдя к соседке, молодой человек застал ее одетой, после похода в ближайшие лавки, и из чистого любопытства спросил, не ходила ли она к мессе, поскольку считал ее набожной. Она ответила, что нет, в церкви она не была. До замужества мать регулярно водила ее туда. И после свадьбы в первые полгода Мари так же аккуратно посещала службы, ужасно боясь, что опоздает к началу. Затем, сама не зная почему, пропустила несколько месс, и с тех пор ноги ее не было в церкви. Супруг Мари ненавидел священников, и теперь ее мать даже не заговаривала о религии в его присутствии. Тем не менее Мари до сих пор не давали покоя слова

Октава о том, что она скучает, – словно они разбудили в ее душе нечто, казалось бы навсегда похороненное под ленивым спокойствием ее нынешнего существования.

– Надо бы как-нибудь утром сходить в церковь Святого Роха, – сказала она. – Стоит забросить какое-нибудь привычное занятие, как в душе становится пусто.

Ее бледное личико позднего ребенка, дочери слишком старых родителей, выдавало горькое сожаление о другой, совсем иной жизни, являвшейся ей некогда в мечтах, в стране химер. Она не умела скрывать свои чувства, они тут же отражались на этом лице с нежной, болезненно-прозрачной кожей. Затем, растроганная до глубины души, Мари безбоязненно сжала руки Октава:

– Ах, как я вам благодарна за эту книгу!.. Приходите к нам завтра после обеда. Я верну ее вам и расскажу про свои впечатления... Вас это позабавит, не правда ли?

Выйдя из комнаты, Октав подумал: странная она все-таки! В конце концов она его заинтересовала; ему хотелось поговорить с Пишоном, слегка встряхнуть его и заставить уделять побольше времени жене, ибо эта юная женщина явно нуждалась в том, чтобы ею занялись. Как нарочно, на следующее утро он столкнулся на лестнице с ее мужем, уходившим на работу, и проводил его до конторы, решив, что может опоздать в «Дамское Счастье» на четверть часика. Однако Пишон показался ему еще более пришибленным, чем его жена; все его мысли были заняты коммерческими соображениями, а больше всего он боялся забрызгать грязью башмаки в эту дождливую погоду. Он шагал буквально на цыпочках, бесконечно рассказывая при этом о своем начальнике – помощнике заведующего. Октав, питавший к этой семье чисто братские чувства, в конечном счете расстался с ним на улице Сент-Оноре, посоветовав напоследок чаще водить Мари в театр.

– Это еще зачем? – изумленно спросил Пишон.

– Видите ли, женщинам это полезно. Они становятся более отзывчивыми.

– О, вы так считаете?

Он обещал подумать об этом и перешел улицу, испуганно шарахаясь от фиакров и думая только об одном: как бы его не забрызгало грязью.

Днем Октав постучался к Пишоном, чтобы забрать книгу. Мари читала, поставив локти на стол и запустив пальцы в растрепанные волосы. Она только что поела, даже не постелив скатерть: на столе царил хаос, валялся обеденный прибор, в жестяном блюде стыли остатки омлета. Лилит, забытая матерью, спала на полу, уткнувшись носиком в осколки тарелки, которую, видно, сама и разбила.

– Ну как? – спросил Октав.

Мари ответила не сразу. На ней был утренний пеньюар с оторванными пуговицами, обнажавший шею; она выглядела неряшливой, как женщина, только что вставшая с постели.

– Я едва успела прочитать сто страниц, – сказала она наконец. – Вчера к нам приходили мои родители.

И заговорила сбивчиво, с трудом подыскивая слова. В молодости ей хотелось жить в лесной чаще. Она мечтала встретить охотника, трубящего в рог. Он подойдет к ней, преклонит колени. Все это происходило очень далеко, в лесных дебрях, где цвели розы, прекрасные, как в парке. Потом вдруг оказывалось, что они уже повенчаны и ведут счастливую, праздную жизнь, с утра до вечера прогуливаясь по лесу. Она была счастлива и ничего больше не желала. А он, нежный и покорный, как раб, лежал у ее ног.

– Сегодня утром я побеседовал с вашим мужем, – сказал Октав. – Вы слишком засиделись дома, и я уговаривал его повести вас в театр.

Но она вздрогнула, побледнела и замотала головой. Наступило молчание. Мари снова очутилась в тесной столовой с ее тусклым холодным светом. Образ Жюля, унылого и педантичного, внезапно заслонил собой сказочного охотника из романсов, которые она пела, – охотника, чей рог все еще звучал у нее в ушах. Иногда она даже прислушивалась: а не идет ли

он? Ее муж никогда не сжимал ее ноги, чтобы поцеловать их, никогда не преклонял перед ней колени и не клялся в пламенной любви. Тем не менее она любила Жюля, очень любила, вот только ее удивляло, что любовь эта со временем утратила свою сладость.

– Видите ли, меня поражает одно, – продолжала Мари, возвращаясь к разговору о книге. – В романах есть такие места, где люди признаются друг другу в своих чувствах.

Вот тут Октав наконец присел. Ему хотелось смеяться, такими пустяшными выглядели в его глазах подобные сентиментальные глупости.

– Лично я, – сказал он, – терпеть не могу напыщенные фразы... Когда люди обожают друг друга, самое лучшее – тотчас перейти к делу.

Но Мари как будто не поняла его, ее взгляд был по-прежнему простодушным. Протянув руку, он коснулся ее пальцев, наклонился, чтобы увидеть, какую страницу она читала, и придвинулся так близко, что его дыхание согрело ее обнаженное плечо в распахнутом вороте пеньюара, но она даже не вздрогнула, сидела как каменная. Октав встал, исполненный презрения, к которому примешивалась жалость. Когда он направился к двери, она успела сказать вслед:

– Я читаю медленно – наверно, не закончу до завтра. Вот завтра будет о чем поговорить! Приходите вечером.

Разумеется, Октав не собирался соблазнять Мари, и, однако, это не давало ему покоя. Его влекли к этой молодой паре какие-то странные дружеские чувства, смешанные с раздражением, настолько нелепыми казались ему их представления о жизни. И почему-то хотелось помочь молодым супругам, оказать им услугу даже вопреки их воле. Что, если пригласить их куда-нибудь на ужин, накачать вином допьяна, посмотреть, как они будут виснуть друг у друга на шее, – в общем, развлечься? В другое время Октав никому не подал бы и десяти франков, но в приступе доброты он был готов швыряться деньгами, лишь бы соединить влюбленных, подарить им счастье.

Впрочем, холодный темперамент юной мадам Пишон лишь разжигал интерес Октава к пылкой Валери. Вот уж той наверняка не потребуется растолковывать, чего от нее ждут. И Октав дерзко пытался добиться успеха: однажды, поднимаясь по лестнице следом за ней, он рискнул отпустить комплимент ее ножкам; она и не подумала рассердиться.

И вот наконец ему представился давно желанный удобный случай. Это произошло в тот вечер, когда Мари предлагала ему зайти к ним: ее муж должен был вернуться домой очень поздно, – таким образом, они будут одни и смогут потолковать о романе. Но молодой человек предпочел уйти из дому: его пугала сама мысль об этом литературном пиршестве. Однако к десяти часам вечера, когда он рискнул вернуться, ему встретилась на площадке второго этажа перепуганная служанка Валери, которая бросилась к нему со словами:

– У мадам нервный припадок, хозяина, как на грех, нет дома, а жильцы из квартиры напротив ушли в театр... Умоляю вас, пойдите со мной! Я не знаю, что делать, а больше никого нет!

В спальне Валери недвижно, словно парализованная, полулежала в кресле. Служанка расшнуровала ей корсет, обнажив грудь. Впрочем, приступ почти сразу же прошел. Валери открыла глаза, удивленно воззрилась на Октава и заговорила так, словно перед ней был врач.

– Прошу прощения, – хрипло прошептала она. – Эта девушка служит у нас только со вчерашнего дня, вот она и потеряла голову со страха.

Бесстрастное спокойствие, с которым она сняла корсет и одернула на себе платье, возбудило молодого человека. Он стоял перед ней, даже не смея присесть, но твердо намереваясь остаться, пока не добьется успеха. Валери отослала служанку, раздражавшую ее своим видом, затем подошла к окну и начала жадно вдыхать холодный воздух улицы, широко раскрывая рот и нервно позевывая. После короткого молчания они разговорились. Эти странные припадки начались у нее в возрасте четырнадцати лет; доктору Жюйера давно уже надоело пич-

кать ее лекарствами, когда у нее сводило то плечи, то поясницу. В конечном счете она свылась с этими приступами – уж лучше это, чем что-нибудь похуже; почти никто из окружающих не мог похвастаться идеальным здоровьем. Пока она говорила, устало поникнув, он с возмущением разглядывал эту женщину, находя ее весьма соблазнительной в беспорядочно смятом платье, со свинцово-бледным лицом, осунувшимся после приступа, как после бурной ночи любви. За черной волной ее распустившихся волос, ниспадавших на плечи, казалось, мелькнуло жалкое, безбородое лицо ее мужа. И внезапно он грубым рывком, точно уличную девку, привлек Валери к себе, готовый овладеть ею.

– Вот так так! Это еще что?! – изумленно воскликнула она.

Теперь уже она разглядывала Октава – так холодно, так бесстрастно, что его пробрал озноб, и он медленно, неловко опустил руки, осознав всю смехотворность своего порыва. А Валери, едва скрыв последний нервный зев, медленно добавила:

– Ах, дорогой мой, если бы вы знали!..

И пожала плечами, ничуть не рассерженная, а просто подавленная своим усталым презрением к мужчинам. Октав увидел, что она направилась к шнуру звонка, волоча за собой полурасстегнутые юбки, и уже было испугался, что она сейчас прикажет вышвырнуть его вон. Однако она всего лишь велела служанке принести чаю – некрепкого, но очень горячего. Октав, совсем сбитый с толку, пролепетал какие-то извинения и направился к двери, а она снова улеглась в кресло, с видом усталой, озябшей женщины, мечтающей только об одном – крепко заснуть.

А Октав поднимался по лестнице, в недоумении приостанавливаясь на каждой площадке. Значит, Валери это не нравится? Он ясно ощутил ее безразличие, холодность, лишенную как желания, так и возмущения, такую же непреодолимую, как и у владелицы «Дамского Счастья» госпожи Эдуэн. Но почему же Кампардон считал Валери истеричкой? Неужто архитектор сознательно ввел его в заблуждение своими рассказами? Ведь не будь этих лживых измышлений, Октав никогда не отважился бы на подобную дерзость. Молодой человек, ошеломленный подобной развязкой, никак не мог разобраться в своих представлениях об истерии, припоминая известные ему случаи. Он вспомнил слова Трюбло: с этими ненормальными, у которых глаза горят, как раскаленные уголья, нельзя иметь дела – никогда не знаешь, во что это выльется!

Поднявшись на свой этаж, Октав, рассерженный на женщин, пошел по коридору на цыпочках, стараясь ступать потише. Но дверь Пишонов вдруг распахнулась, и ему пришлось смириться с неизбежным: Мари поджидала его, стоя в узкой комнате, едва освещенной карбидной лампой. К столу была придвинута колыбель, где Лилит спала в круге желтого света. Обеденный прибор, видимо, послужил Мари и для ужина; рядом с грязной тарелкой, на которой валялись хвостики редиски, лежала закрытая книга.

– Ну как, дочитали? – спросил Октав, удивленный молчанием молодой женщины.

Лицо Мари выглядело слегка одутловатым, как обычно бывает после слишком тяжелого, похмельного сна.

– Да... да, – выдавила она. – О, я провела за чтением целый день; читала, читала, заткнув уши, забыв обо всем на свете... Когда история так увлекает, уже не понимаешь, где ты и что ты... У меня теперь даже шея болит.

Больше Мари ничего не сказала о романе; она устала, ее так переполняли эмоции и будоражили смутные мечты, разбуженные этим чтением, что она задыхалась. В ушах стоял гул, звучали отдаленные призывы рога, в который трубил охотник – герой ее романсов в голубых далах идеальной любви. Потом, без всякой связи с предыдущим, она рассказала, что ходила в церковь Святого Роха к девятичасовой мессе. И там плакала не переставая – религия вытеснила все переживания.

– Ах, теперь мне полегчало, – промолвила она с глубоким вздохом, стоя перед Октавом.

Наступило молчание. Мари улыбалась, глядя на Октава чистыми, невинными глазами. А ему эта женщина, с ее жиденькими волосами и размытыми чертами лица, никогда еще не казалась такой жалкой. Но она упорно не спускала с него глаз и вдруг смертельно побледнела, пошатнулась, и он едва успел подхватить ее, чтобы не дать упасть.

– Боже мой! Боже мой! – бормотала она сквозь рыдания.

Смущенный Октав все еще держал ее в объятиях.

– Вам сейчас невречно было бы выпить липового отвара, – сказал он. – Вы просто слишком долго читали.

– Ох, у меня прямо сердце сжалось, когда я закрыла книгу и поняла, что безнадежно одинока... Как вы добры ко мне, господин Муре! Если бы не вы, не знаю, что бы я сделала!

Тем временем Октав оглядывал комнату, ища, куда бы ее посадить.

– Хотите, я разожгу огонь в камине?

– Благодарю вас, не стоит, вы измажетесь... Я давно заметила, что вы всегда носите перчатки.

При этих словах она снова задохнулась и, внезапно ослабев, сделала неловкую попытку поцеловать его, словно ей подсказала это мечта; поцелуй пришелся в краешек уха молодого человека.

Почувствовав его, Октав испуганно вздрогнул: губы Мари были холодны как лед. Но миг спустя, когда она безоглядно приникла к нему всем телом, в нем внезапно вспыхнуло желание, и он попытался увлечь ее в глубину комнаты. Однако резкий напор привел Мари в чувство; инстинкт женщины, оказавшейся в руках насильника, заставил ее отбиваться, и она стала звать на помощь мать, забыв о муже, который должен был сейчас прийти, и о дочке, спавшей тут же, рядом.

– Нет, о нет, только не это... Это невозможно!

А он, воспламенившись, твердил:

– Никто не узнает, я никому не скажу ни слова!

– Нет-нет, господин Октав... Не нужно омрачать счастье нашей встречи... Вам это ни к чему, уверяю вас, а я... я так размечталась...

И Октав замолчал; ему не терпелось одержать победу хотя бы над этой женщиной, и он грубо твердил про себя: «Ну нет, уж ты от меня не уйдешь!» Поскольку Мари не позволила ему увлечь ее в спальню, он грубо опрокинул ее на стол; она безвольно подчинилась, и он овладел ею между забытой тарелкой и романом, который от толчков свалился на пол. Дверь квартиры даже не была закрыта, и в тишину комнаты проникало торжественное безмолвие лестницы. А Лилит безмятежно спала в своей колыбельке.

Когда Мари и Октав поднялись, путаясь в ее юбках, они даже не нашли что сказать друг другу. Она машинально заглянула в колыбель, посмотрела на дочь, потом взяла было тарелку, но тут же поставила ее обратно. А он стоял молча, так же охваченный смущением, настолько неожиданным был для него этот порыв, и вспоминал, как чисто по-братски собирался заставить эту женщину броситься на шею мужу. Потом наконец, желая прервать это затянувшееся, невыносимое молчание, прошептал:

– Вы даже не закрыли дверь?

Мари бросила взгляд на лестничную площадку и пролепетала:

– Да, и правда... она была открыта...

Она с трудом двигалась, на ее лице застыла гримаса отвращения. И молодой человек, глядя на нее, думал: «Какая глупая, жалкая победа – над этой беззащитной бедняжкой, в ее убожестве и одиночестве! Она даже не испытала наслаждения».

– Ой, и книжка упала на пол! – промолвила она, поднимая роман.

Как на беду, при падении уголок обложки надломился. Это их сблизило, принесло облегчение. Они снова заговорили. Мари пришла в отчаяние:

– Я не виновата... Вы же видите, я ее обернула – боялась, что испачкаю... А мы ее нечаянно столкнули со стола.

– Так она лежала на столе? – удивился Октав. – А я ее и не заметил... О, мне-то это безразлично! Но Кампардон так дорожит своими книгами!

Они передавали друг другу злосчастный том, пытаясь выпрямить уголок обложки; их пальцы то и дело соприкасались, но теперь уже без трепета. Представляя себе последствия, оба искренне сожалели об ущербе, нанесенном чудесному роману Жорж Санд.

– Это должно было скверно кончиться! – запричитала Мари со слезами на глазах.

Октаву пришлось утешать ее: он что-нибудь придумает, ведь не съест же его Кампардон из-за какой-то книги! Их взаимная неловкость возросла в момент расставания. Обоим хотелось сказать хоть несколько любезных слов, но обращение на «ты» застревало в горле и у него и у нее. К счастью, на лестнице раздались шаги – это поднимался муж. Октав молча привлек Мари к себе и поцеловал в губы. Она снова подчинилась, хотя ее губы были по-прежнему холодны как лед.

Бесшумно прокравшись в свою комнату и сняв пальто, Октав сказал себе: вот и эта, похоже, не склонна к таким приключениям. Но тогда чего она добивалась? И почему отдалась первому встречному? Нет, решительно, женщины – странные создания!

На следующий день, сидя у Кампардонов после обеда, Октав повинился перед хозяином дома в том, что по неловкости уронил книгу. В этот момент вошла Мари. Она везла Лилит на прогулку в Тюильри и спросила хозяев дома, не хотят ли они отпустить с ней Анжель. При этом она, ничуть не смутившись, улыбнулась Октаву и с самым невинным видом посмотрела на книгу, лежавшую на стуле.

– Ах, это я должна вас благодарить! – сказала мадам Кампардон. – Анжель, иди надень шляпку... С вами, Мари, я не боюсь ее отпускать.

Мари, в своем простеньком, темном шерстяном платице, выглядела очень скромной. Она заговорила о муже, который накануне вернулся домой простывшим; о ценах на мясо – при такой дороговизне им скоро придется отказаться от него. Затем она увела с собою Анжель, и Кампардоны высунулись из окна, чтобы посмотреть им вслед. Мари толкала перед собой коляску руками в перчатках; Анжель, прекрасно зная, что родители за ней наблюдают, шагала рядом, скромно глядя себе под ноги.

– Все-таки она очень приличная женщина! – воскликнула мадам Кампардон. – Такая кроткая и порядочная!

На что архитектор ответил, хлопнув Октава по плечу:

– Домашнее воспитание, милый мой, – вот его плоды!

V

Тем вечером Дюверье устраивали у себя суаре и концерт. К десяти часам Октав, которого они впервые пригласили к себе, заканчивал свой туалет. Он был настроен мрачно, его мучило глухое раздражение. Ну почему он упустил Валери – ведь ее родня могла быть ему такой полезной! Или взять Берту Жоссеран – не следовало ли поразмыслить, перед тем как отвергнуть ее? В тот момент, когда Октав повязывал белый галстук, ему вспомнилась Мари Пишон – мысль о ней была ему невыносима: целых пять месяцев в Париже – и ничего, кроме этой жалкой интрижки!

Натягивая перчатки, он поклялся себе впредь не тратить времени на такие пустяки. Пора всерьез браться за дело, раз уж он проник наконец в высшее общество, где предостаточно богатых возможностей.

Однако, выйдя из комнаты, он увидел Мари, подстерегавшую его в конце коридора. Пишона не было дома, и ему поневоле пришлось зайти к ней на минутку.

– Ой, какой вы нарядный! – прошептала она.

Их самих никогда не приглашали к Дюверье, и это внушало Мари почтение к жильцам второго этажа. Впрочем, она не завидовала их гостям: для этого ей не хватало ни воли, ни характера.

– Я вас дождусь, – шепнула она, подставив ему лоб для поцелуя. – Только не задерживайтесь у них допоздна, вы мне расскажете, как повеселились там.

Октаву поневоле пришлось коснуться поцелуем ее волос. Хотя между ними установились, по его воле, близкие отношения и желание или праздность толкала к ней Октава, ни тот ни другая пока еще не перешли на «ты». Наконец он начал спускаться по лестнице, а она, перегнувшись через перила, провожала его глазами.

Тем временем в квартире Жоссеранов, в эти же минуты, разворачивалась настоящая драма. Вечер у Дюверье, куда они собирались вчетвером, должен был, как надеялась мать, окончательно решить вопрос о свадьбе Огюста Вабра и Берты. Однако Огюст, невзирая на двухнедельные атаки матери невесты, все еще колебался: его мучили сомнения по поводу приданого. Тогда госпожа Жоссеран, желая одним махом решить дело, написала брату, объявив о планах на брак племянницы и напомнив его посулы, в надежде на то, что в ответном письме он разрешится какой-нибудь неосторожной фразой, из которой она сумеет извлечь пользу. И теперь вся семья, стоя при полном параде в столовой, возле печки, ждала девяти часов, чтобы спуститься к Дюверье; вот тут-то Гур и принес им письмо от дядюшки Башляра, которое жена Гура, получив его у почтальона, сунула под табакерку и забыла отдать жильцам.

– Ох, наконец-то! – воскликнула госпожа Жоссеран, распечатывая послание.

Ее супруг и обе дочери с тоскливой тревогой смотрели, как она его читает. Адель, которой пришлось наряжать дам, теперь неуклюже суежилась у стола, собирая грязную посуду после ужина. Внезапно госпожа Жоссеран смертельно побледнела.

– Ничего! Ровным счетом ничего! – пролепетала она. – Ни одного внятного слова!.. Он, видите ли, все решит потом, ближе к свадьбе... И добавляет, что очень любит всех нас... Каков мерзавец!

Жоссеран, уже во фраке, рухнул на стул. Ортанс и Берта также сели, словно у них подкопились ноги, и застыли обе, одна в голубом платье, другая в розовом, в этих своих надоевших нарядах, который уже раз переделанных и обновленных.

– Я всегда вам говорил, что Башляр водит нас за нос, – прошептал отец. – Никогда он не даст нам ни гроша.

Его супруга, стоя в своем огненном наряде, еще раз перечитала письмо. Потом разразилась гневной тирадой:

– Ох уж эти мужчины!.. Взять хоть этого – на вид дурак дураком, живет себе припеваючи и радуется. Но нет, на самом-то деле не так уж он глуп, пускай даже и выглядит безмозглым. Стоит заговорить с ним о деньгах, как из него слова не вытянешь... Ох уж эти мужчины!..

И она обернулась к дочерям, коим и предназначался ее урок:

– Вот гляжу я на вас и думаю: с чего это вам так не терпится выскочить замуж?! Добро бы еще у вас было столько воздыхателей, сколько когда-то у меня! Так нет же: никто из них не полюбит вас ради вас самих, никто не принесет вам богатства, не торгуясь! И никакой дядюшка-миллионер, который вот уже двадцать лет ест и пьет у нас в доме, не раздобрится на приданое своим родным племянницам! А мужья, все как один, – ничтожества, да-да, полные ничтожества!

Жоссеран втянул голову в плечи. Тем временем Адель, не слушая речей хозяйки, продолжала убирать со стола. Неожиданно гнев госпожи Жоссеран обрушился на нее:

– А вы что тут делаете – шпионите за нами?.. Ну-ка убирайтесь на кухню, чтоб я вас больше тут не видела! – И с горечью заключила: – Вот какова жизнь: все для этих подлых мужчин, а нам, женщинам, одни объедки... Слушайте меня: эти господа лишь на то и годятся, чтоб заглотнуть их вместе с их деньгами! Так и запомните!

Ортанс и Берта кивнули в знак того, что приняли к сведению советы матери. Она давно уже убеждала их в полном ничтожестве мужчин, чья единственная обязанность состоит в том, чтобы жениться и обеспечивать супруг. В полутемной столовой воцарилась гробовая тишина; от грязной посуды, которую не успела убрать Адель, исходил кислый запах еды. Члены семьи, в парадной одежде, сидели кто где, погруженные в уныние, забыв о концерте у Дюверье и думая только о постоянных ударах судьбы. Из соседней комнаты доносился храп Сатюрнена, которого нынче уложили спать раньше обычного.

Наконец Берта промолвила:

– Ну, значит, делу конец... Может, разденемся?

Но тут к ее матери вернулась обычная энергия. Как?! С какой стати раздеваться?! Разве они не почтенные люди?! Разве брак с их дочерьми так уж плох?! Нет, свадьба все-таки состоится; она умрет, но добьется этого любой ценой! И госпожа Жоссеран четко распределила роли: обе девицы получили приказ быть крайне любезными с Огюстом, не упускать его ни на миг, чтобы не сбежал; их отцу надлежало умасливать старшего Вабра и Дюверье, поддакивать им, соглашаться во всем – если только это возможно при его жалком умишке; что же до нее самой, то она уж не упустит ни одной возможности, займется женщинами и всех их втянет в свою игру. Затем, придя в боевую готовность, она обвела свою семью зорким взглядом, словно желая убедиться, что не упустила никакого оружия, выпрямилась с грозным видом полководца, ведущего своих дочерей на кровавую битву, и отдала короткий громкий приказ:

– Спускаемся!

И они спустились на второй этаж. Жоссеран, уныло шагавший вниз по ступеням парадной лестницы, был в полном смятении: он предвидел неприятности, убийственные для совести порядочного человека.

Когда они вошли в квартиру Дюверье, там уже яблоку негде было упасть. Огромный рояль занимал чуть ли не половину салона; перед ним на стульях, стоявших рядами, точно в театре, уже расселись дамы; группы мужчин в черных фраках теснились в распахнутых дверях столовой и малой гостиной. Люстра, несколько бра и с полдюжины ламп на консолях ярко освещали гостиную, ее белые с золотом стены, на фоне которых резко выделялись красные шелковые портьеры и обивка кресел. Здесь было жарко, и шелестящие веера дам мерно колыхались, разгоняя вокруг душные запахи корсажей и оголенных плеч.

В этот момент госпожа Дюверье как раз усаживалась за рояль. Госпожа Жоссеран с улыбкой помахала ей издали, словно умоляя не беспокоиться, а затем уселась на стул между Валери и мадам Жюзер, оставив дочерей в дверях, рядом с мужчинами. Жоссеран пробрался в малую

гостиную, где домохозяин – господин Вабр – уже дремал на своем обычном месте, в уголке дивана. Тут же находились Кампардон, братья Вабр – Теофиль и Огюст, доктор Жюйера и аббат Модюи; что касается Трюбло и Октава, то они, встретившись здесь, пробрались в глубину столовой, подальше от музыки. Недалеко от них, за группой черных фраков, стоял сам Дюверье, хозяин дома, высокий, худой господин; он пристально смотрел на жену, сидевшую у рояля в ожидании тишины. В петлице фрака он носил скромную розетку ордена Почетного легиона.

– Тише, тише, замолчите! – слышались шепотки друзей дома.

Наконец Клотильда Дюверье заиграла ноктюрн Шопена – пьесу, необычайно трудную для исполнения. Это была высокая, красивая женщина с рыжими волосами, с продолговатым, бледным и холодным как снег лицом; одна лишь музыка, к которой она питала безумную страсть, могла зажечь огонь в ее серых глазах; она жила только ею, не нуждаясь в других утехах, и духовных и плотских. Дюверье пристально смотрел на нее; потом, с первых же тактов музыки, его губы искривила нервная судорога; он отошел от двери и укрылся в дальнем углу столовой. На его гладковыбритом лице с острым подбородком и узкими глазами выступили большие красные пятна – признак дурной крови, прилившей к коже.

Трюбло, который внимательно наблюдал за ним, бесстрастно констатировал:

– Он не любит музыку.

– Я тоже, – ответил Октав.

– О, вы – совсем другое дело, вас не заставляют ее слушать... Впрочем, этому человеку, милый мой, всегда везло. Не то чтобы он был умнее других, просто ему все и всегда помогали. Он родился в почтенной семье, его отец был когда-то председателем суда. Сразу по окончании коллежа он получил должность судебного заседателя, затем стал помощником судьи в Реймсе, а дальше – судьей в Париже, в трибунале первой инстанции; получил орден и, наконец, должность советника палаты, а ведь ему еще нет и сорока пяти... Не правда ли, потрясающая карьера! Но вот незадача: он не любит музыку – фортепиано отравило ему всю жизнь... Что делать, нельзя иметь все на свете.

Тем временем Клотильда невозмутимо одолевала трудные пассажи. Она владела инструментом, как опытная наездница, управляющая норовистым конем. Октава интересовало только одно – иступленная пляска ее пальцев на клавишах.

– Вы только взгляните на ее руки, – сказал он. – Это потрясающе!.. Должно быть, через четверть часа такой игры у нее заболят пальцы.

И они разговорились о женщинах, уже не обращая внимания на исполняемую музыку. Октав несколько смешался, заметив Валери: как она отнесется к нему после случившегося? Заговорит ли с ним или притворится, будто не замечает? Что касается Трюбло, то он выказывал крайнее презрение к присутствующим дамам: ни одна из них ему не нравилась; когда же его собеседник стал возражать, оглядывая залу и говоря, что здесь полно привлекательных женщин, наставительно объявил:

– Ну что ж, выбирайте себе подходящую – а какова она, увидите позже, когда узнаете поближе... Что? О нет, только не эту, с перьями в шиньоне, и не блондинку в сиреневом платье, и не ту старуху, хотя она, по крайней мере, пухленькая... Послушайте меня, милый мой: искать любовницу в высшем свете крайне глупо. Одно лишь кривляние и никакого удовольствия!

Октав слушал его с улыбкой. Ему предстояло делать карьеру; он не мог руководствоваться только своим вкусом, в отличие от Трюбло, у которого был богатый отец. При виде этого скопища женщин его одолевали совсем другие мечты: он прикидывал, которую из них нужно обольстить и ради своей карьеры, и ради наслаждения, да и позволят ли ему хозяева дома похитить одну из них? Оценивая взглядом присутствующих дам, одну за другой, он вдруг удивленно воскликнул:

– Смотрите-ка, да ведь это моя хозяйка! Значит, она тоже бывает здесь?

– А вы и не знали? – спросил Трюбло. – Госпожа Эдуэн и Клотильда Дюверье, несмотря на разницу в возрасте, дружат еще со времен пансиона. Они там были неразлучны, их даже прозвали белыми медведицами, потому что с посторонними они всегда держались чрезвычайно холодно, двадцать градусов ниже нуля... Вот уж эти две дамы служат только красивой вывеской для мужей! Хорошо, что Дюверье запаса «горячей грелкой для постели», при такой-то стуже...

Но теперь Октаву было не до шуток. Он впервые увидел госпожу Эдуэн в вечернем туалете, с обнаженными руками и шеей; сейчас ее черные волосы были заплетены в косу, венчающую голову; в ярком свете залы госпожа казалась ему воплощением всех его желаний – величественная, невозмутимая красавица, пышущая здоровьем, высшая награда для любого мужчины. В голове у Октава уже зарождались хитроумные планы, как вдруг его вырвал из раздумья взрыв аплодисментов.

– Уф, слава богу, кончено! – сказал Трюбло.

Слушатели осыпали Клотильду комплиментами. Госпожа Жоссеран, пробившись сквозь толпу, пылко пожимала ей руки; тем временем мужчины с облегчением возобновили свои беседы, а дамы с таким же облегчением обмахивались веерами. Дюверье улизнул в малую гостиную, куда за ним последовали и Трюбло с Октавом. Пробираясь между дамскими кринолинами, Трюбло шепнул ему на ухо:

– А ну-ка, гляньте направо... Похоже, сейчас там начнется осада.

Он говорил о госпоже Жоссеран, которая направила Бертю на Огюста, имевшего неосторожность поклониться этим дамам. Нынче вечером невралгия мучила его не так сильно, как обычно; он чувствовал всего лишь легкое покалывание в левом глазу; правда, он опасался, что в конце приема начнется пение, а для него не было ничего тяжелее этого испытания.

– Берта, – сказала ее мать, – расскажи-ка господину Вабру о рецепте лекарства, который ты списала для него из книги... О, это наилучшее средство от мигреней!

Итак, начало было положено, и мать оставила их наедине, возле окна.

– Черт возьми, если уж они договорились до аптеки... – шепнул Трюбло.

Тем временем Жоссеран, стремившийся угодить супруге, стоял в малой гостиной рядом со старшим Вабром, крайне смущенный, ибо старик задремал, а он не осмеливался разбудить его, чтобы занять любезной беседой. Однако едва стихла музыка, как Вабр открыл глаза. Это был низенький толстяк, совершенно лысый, если не считать двух седых прядок над ушами, с красноватым лицом, жирными губами и круглыми глазками навывкате.

Жоссеран учтиво осведомился о его здоровье, с этого и завязался разговор. У бывшего нотариуса было всего пять-шесть мыслей, которые он высказывал неизменно в одном и том же порядке; сперва он заговорил о Версале, где проработал целых сорок лет нотариусом, затем перешел к сыновьям, сетуя на то, что ни старший, ни младший не проявили должных способностей к его профессии, вот и пришлось ему продать свою практику и перебраться в Париж; далее он завел рассказ о строительстве этого дома, ставшего венцом его жизни.

– Я вложил в него триста тысяч франков! Мой архитектор уверял, что это очень выгодное предприятие. Так вот, нынче оно никак не окупается; вдобавок все мои дети устроились жить здесь, не платя при этом ни гроша за квартиру, и я никогда ничего не выручал бы, если бы сам лично не являлся пятнадцатого числа за квартирной платой... К счастью, работа – единственное мое утешение.

– Стало быть, вы по-прежнему много работаете? – осведомился Жоссеран.

– Увы, по-прежнему, по-прежнему! – ответил старик в порыве бессильного отчаяния. – В работе вся моя жизнь.

И он посвятил собеседника в свой великий проект. Вот уже десять лет, как он изучает официальный каталог ежегодного Салона живописи, занося в карточки с именами художников названия выставленных картин. Он говорил об этом с усталой, тоскливой гримасой: ему едва

хватает времени на составление годичного каталога; этот напряженный труд отнимает у него все силы; взять, например, женщин-художниц: если какая-то из них выходит замуж, а потом выставляется под мужней фамилией, то как, скажите на милость, он может ее распознать?!

– О, моим трудам не видно конца, вот что меня убивает! – прошептал он.

– Вы, стало быть, интересуетесь искусством? – спросил Жоссеран, желая польстить старику.

Вабр взглянул на него с изумлением:

– Да нет же, мне вовсе не нужно смотреть на картины. Это чисто статистический труд... Ох, мне бы лучше пойти спать, чтобы завтра встать со свежими силами. Доброго вам вечера, сударь!

Он встал, опираясь на трость, с которой не расставался даже в гостях, и заковылял к выходу, согнувшись в три погибели, – ноги уже отказывали ему. А Жоссеран стоял в растерянности, так и не поняв причины ухода старика; он опасался, что не проявил к его картотеке должного интереса.

Возгласы, донесшиеся из большой гостиной, заставили Трюбло и Октава подойти к дверям. Они увидели входившую даму лет пятидесяти, пышнотелую, но все еще красивую; за ней следовал молодой человек, благопристойный и серьезный с виду.

– Вот как, они уже и визиты наносят вместе! – прошептал Трюбло. – Ну и ну, совсем стыд потеряли!

Это были мадам Дамбревиль и Леон Жоссеран. Она собиралась его женить, но пока что держала при себе; сейчас эта пара переживала медовый месяц и беззастенчиво выставляла свою связь на общее обозрение во всех светских гостиных. Матери девушек на выданье зашептались между собой. Однако Клотильда Дюверье встала и поспешила приветствовать гостью, которая поставляла ей молодых людей для домашних хоровых концертов. Госпожа Жоссеран тут же перехватила у нее мадам Дамбревиль и осыпала ее уверениями в дружеских чувствах, посчитав, что такое знакомство может оказаться полезным. Леон холодно поздоровался с матерью; тем не менее она с самого начала этой связи надеялась, что сын извлечет из нее хоть какую-то пользу.

– Берта еще не видела, что вы пришли, – сказала она мадам Дамбревиль. – Извините ее, она сейчас рассказывает господину Огюсту про одно лекарство, которое может быть для него полезно.

– Ну и прекрасно, оставим их в покое, им хорошо и без нас, – ответила дама, мгновенно оценив ситуацию.

И обе они с материнской заботой взглянули на Берту. Ей удалось загнать Огюста в оконную нишу и удерживать там; она говорила, изящно жестикулируя, а он явно оживлялся, хотя это грозило ему мигренью.

Тем временем группа солидных мужчин в малой гостиной беседовала о политике. Накануне в сенате состоялось бурное заседание по поводу ситуации в Риме; там обсуждалось письмо протеста, обращенного к правительству³. Доктор Жюйера, атеист и человек революционных взглядов, утверждал, что Рим нужно отдать под эгиду короля Италии; в отличие от него, аббат Модюи, один из вождей партии ультрамонтанов, пророчил самые что ни на есть ужасные события, если Франция не будет бороться до последней капли крови за папское правление.

– Хотелось бы надеяться, что обе стороны еще найдут какой-нибудь *modus vivendi*⁴, – заключил подошедший к ним Леон Жоссеран.

³ К 1862 г. завершилось воссоединение Италии, тогда как Рим еще находился под властью папского престола. Здесь обсуждается отношение французского правительства и общественности к этому факту.

⁴ Здесь: способ сосуществования (лат.).

В настоящее время Леон был секретарем знаменитого адвоката, депутата от левой партии. В течение двух лет этот юноша, не надеясь на помощь родителей, которых презирал за скудное существование, слонялся по улочкам Латинского квартала, произнося речи и щеголяя пылкой демагогией. Однако стоило ему попасть к Дамбревилям, как он тут же остепенился, притих и сделался самым что ни на есть умеренным республиканцем.

– Нет, – возразил священник, – на мирное соглашение и надеяться нечего. Церковь никогда на это не пойдет.

– Значит, она погибнет! – вскричал доктор.

Эти двое, даром что тесно связанные друг с другом – поскольку они встречались у изголовья всех умирающих в квартале Сен-Рош, – выглядели полными антиподами: врач был худым, раздражительным субъектом, викарий – дородным и покладистым. С его лица не сходила любезная улыбочка; даже в самых яростных словесных схватках он вел себя и как светский человек, философски относившийся к житейским бедствиям, и одновременно как убежденный католик, ни на йоту не уступавший собеседнику, когда дело касалось религиозных догматов.

– Но это немыслимо, Церковь не может погибнуть! – пылко воскликнул Кампардон, стремясь задобрить священника, от которого ждал заказов на церковные работы.

Впрочем, он был не одинок, так полагали все присутствующие господа: она не могла погибнуть. И только один-единственный человек – Теофиль Вабр, кашлявший, харкавший мокротой, трясущийся от лихорадки, – мечтал о всеобщем, универсальном счастье через создание подлинно гуманной республики; он был единственным, кто утверждал, что в этом случае и Церковь, может быть, преобразуется.

Священник же, помолчав, продолжал своим бархатным голосом:

– Империя изживает себя. Вы убедитесь в этом через год, на выборах.

– О, что касается Империи, мы охотно позволим вам избавить нас от нее, – решительно заявил врач. – Этим вы окажете обществу огромную услугу.

При этих словах Дюверье, внимательно слушавший этот диспут, покачал головой. Сам он родился в семье, приверженной Орлеанской ветви Бурбонов⁵, однако своим благополучием был обязан Империи и посчитал необходимым встать на ее защиту.

– Поверьте мне, – твердо объявил он наконец, – подрывать основы общества крайне опасно, иначе рухнет все... Общественные потрясения в первую очередь неизбежно обрушатся на нас самих.

– Весьма справедливо! – воскликнул Жоссеран; у него не было собственного мнения, но он прекрасно помнил наказ своей супруги.

И тут заговорили все разом. Никто из них не любил Империю. Доктор Жюйера осуждал Мексиканскую экспедицию⁶, аббат Модюи не признавал королевский режим Италии. Однако Теофиль Вабр и даже сам Леон встревожились, когда Дюверье пригрозил им новым девяносто третьим годом. Ну к чему все эти постоянные революции?! Разве свобода не завоевана?! Ненависть к новым, смелым идеям и страх перед народом, желавшим получить свою долю благополучия, заставляли этих сытых господ умерить свой либерализм. Как бы то ни было, все объявили, что будут голосовать против императора, – он заслужил такой урок!

– Ох, до чего же они мне надоели! – сказал Трюбло, безуспешно пытавшийся вникнуть в суть диспута.

Тем временем Октав решил вернуться к дамам. Берта, в амбразуре окна, все еще обольщала Огюста своим серебристым смехом, и этот хилый долговязый малый забыл о своем страхе перед женщинами. Он залился густым румянцем, слушая переливчатый смех девушки, чье дыхание щекотало ему лицо. Тем не менее госпожа Жоссеран сочла, что процедура обо-

⁵ Речь идет об орлеанистах – сторонниках династии короля Луи-Филиппа.

⁶ Имеется в виду французская военная интервенция в Мексику (1866) при императоре Наполеоне Третьем.

лыщения слишком уж затянулась; она пристально посмотрела на Органс, и та покорно отправилась на подмогу сестре.

– Надеюсь, вы уже хорошо себя чувствуете, мадам? – осмелился спросить Октав у Валери.

– Прекрасно, сударь, благодарю вас, – ответила она так невозмутимо, словно ничего не помнила.

Мадам Жюзер заговорила с Октавом о старинном кружеве, которое хотела ему показать, дабы узнать его мнение, и молодому человеку пришлось обещать зайти к ней ненадолго завтра же. Потом, увидев аббата Модюи, вернувшегося в большую гостиную, она подозвала его к себе и усадила рядом, взирая на него с восхищением.

Но общая беседа все еще продолжалась: теперь дамы обсуждали прислугу.

– Ах, боже мой, я, конечно, очень довольна нашей Клеманс! – объявила госпожа Дюверье. – Она такая опрятная девушка и к тому же расторопная.

– А что же ваш Ипполит? – спросила госпожа Жоссеран. – Вы ведь как будто собирались его рассчитать?

Как раз в этот момент Ипполит, камердинер хозяйки, высокий, сильный, цветущий молодой человек, начал разносить мороженое. Когда он отошел подальше, Клотильда ответила с легким смущением:

– Мы решили его оставить. Менять прислугу так хлопотно! Понимаете, слуги привыкают друг к другу, а я очень дорожу своей Клеманс...

Госпожа Жоссеран горячо одобрила такое решение – она почуяла, что затронула деликатную тему. Хозяева надеялись когда-нибудь поженить этих молодых людей, и аббат Модюи, с которым посоветовались супруги Дюверье, тихонько кивал, словно желая прикрыть ситуацию, уже известную всему дому, хотя вслух никто об этом не говорил. Теперь дамы без стеснения заговорили о других слугах: нынче утром Валери уволила свою горничную – это была уже третья за неделю; мадам Жюзер решила взять в сиротском приюте пятнадцатилетнюю девочку, чтобы обучить ее прислуживать; что же касается госпожи Жоссеран, та не уставала бранить Адель – грязнулю, неумеху, – рассказывая о ней всякие ужасы.

И все они, разомлев в мягком сиянии свечей и в цветочных ароматах, перебирали истории своих слуг, рассказывали о жульнических записях в расходных книгах, возмущались наглостью кучеров или посудомоек.

– А вы видели Жюли? – неожиданно спросил Трюбло у Октава, соорудив загадочную мину. И поскольку тот непонимающе смотрел на него, добавил: – Дорогой мой, это такая штучка!.. Сходите посмотрите на нее. Сделайте вид, будто вам что-то нужно, и загляните в кухню... Ну и штучка, скажу я вам!

Он говорил о кухарке четы Дюверье. Тем временем дамы уже сменили тему: госпожа Жоссеран с преувеличенным восторгом описывала имение Дюверье, расположенное в Вильнёв-Сен-Жорж, на самом деле довольно скромное; по правде говоря, она видела его лишь издали, из окна вагона, по дороге в Фонтенбло. Но Клотильда не любила деревню и навещалась туда довольно редко, разве что во время каникул своего сына Гюстава, учившегося в предпоследнем классе лицея Бонапарта.

– Каролина хорошо делает, что не заводит детей! – объявила она, обращаясь к госпоже Эдуэн, сидевшей через два стула от нее. – Эти крошечные создания просто переворачивают всю вашу привычную жизнь!

Но та ответила, что очень любит детей. Просто она вечно занята: ее муж беспрестанно разъезжает по всей Франции, и все заботы по дому и магазину ложатся на нее.

Октав, стоявший за стулом своей хозяйки, исподтишка разглядывал иссиня-черные завитки волос на ее затылке и белоснежную грудь в низком декольте, терявшуюся в пене кружев. Она приводила его в крайнее смущение своим неизменным спокойствием, немногосло-

вием и постоянной прекрасной улыбкой; никогда еще он не встречал такой женщины, даже в Марселе. Нет, он готов вечно работать в ее магазине, лишь бы дожидаться удачи!

– Дети так быстро старят женщин! – сказал он, наклонившись к госпоже Эдуэн; ему не терпелось заговорить с ней, и он не нашел никакой другой темы.

Она медленно подняла большие глаза, взглянула на него и ответила тем же будничным тоном, каким отдавала распоряжения в магазине:

– О нет, господин Октав, со мной дело обстоит иначе... Мне просто не хватает времени, вот и все.

Но тут в разговор вмешалась госпожа Дюверье. Когда Кампардон представил ей молодого человека, она поздоровалась с ним только легким кивком, зато сейчас пристально разглядывала его и слушала, не скрывая внезапного интереса к этому гостю. Услышав, как он болтает с ее подругой, она не удержалась от вопроса:

– Простите, сударь... Какой у вас голос?

Октав не сразу понял ее, затем, уразумев смысл, ответил, что у него тенор. Клотильда пришла в восторг:

– Неужто тенор?! Господи, какая удача, тенора нынче так редки! Взять хотя бы «Благословение кинжалов»⁷, которое мы собираемся исполнить: среди знакомых нашлось всего три тенора, тогда как для этого произведения требуется не меньше пяти!

У нее заблестели глаза; она была взволнована до глубины души и, похоже, едва сдерживалась, чтобы тотчас же не сесть за рояль и не проверить его голос. Октаву пришлось обещать ей прийти как-нибудь вечером. Трюбло, стоявший позади, подталкивал его локтем, скрывая под внешним безразличием злорадное ликование.

– Ага, вот вы и попались! – шепнул он Октаву, когда хозяйка дома отошла от них. – У меня, мой дорогой, она сперва обнаружила баритон, затем, убедившись, что дело не идет, попробовала в амплуа тенора, но и тут ничего не вышло... в результате нынче вечером она использует меня в басовой партии... Я исполняю арию монаха.

Но тут ему пришлось покинуть Октава: Клотильда Дюверье подозвала его к себе, сейчас мужчины должны были спеть хором довольно большой фрагмент – главный номер вечера. Началась суматоха. Полтора десятка мужчин – все певцы-любители, набранные из числа друзей дома, – с трудом прокладывали себе дорогу между дамами, чтобы выстроиться у рояля. Они то и дело застревали в толпе, извинялись, хотя их было едва слышно в общем гомоне, а веера дам колыхались все быстрее в усиливающейся жаре. Наконец госпожа Дюверье сосчитала исполнителей: все были на месте, и она раздала им ноты, собственноручно ею переписанные. Кампардон исполнял партию графа Сен-Бри, молодому аудитору Государственного совета достался отрывок арии Невера; за ними шли партии восьми сеньоров, четырех старшин-эшевеннов и трех монахов, в исполнении адвокатов, служащих и простых рантье.

Сама хозяйка дома должна была аккомпанировать певцам, а сверх того, оставила за собой партию Валентины, состоявшую из страстных воплей, которые она выпускала под гром своих аккордов; ей не хотелось допускать других женщин-исполнительниц в этот мужской ансамбль, которым она управляла с властной строгостью дирижера.

Тем временем гости продолжали беседовать; особенно бесцеремонно они шумели в малой гостиной, где разгорелась ожесточенная политическая дискуссия. Наконец Клотильда вынула из кармана ключ и легонько постучала им по крышке рояля. По комнате пронесся шепоток, голоса стихли, в дверях снова появились черные фраки мужчин, а над их головами промелькнуло лицо самого Дюверье – тоскливое, в красных пятнах. Октав по-прежнему стоял за спиной госпожи Эдуэн, якобы потупившись, а на самом деле разглядывая нежную ложбинку

⁷ Сцена «Благословения кинжалов» из четвертого акта оперы «Гугеноты» Дж. Мейербергера (1791–1864), посвященной кровавым событиям (резне гугенотов) Варфоломеевской ночи.

ее груди, обрамленной кружевами. Внезапно в установившейся тишине прозвучал громкий смех, заставивший его поднять голову. Это хохотала Берта, которую позабавила шутка Огюста: ей все же удалось разгорячить его холодную кровь, да так, что он посмел сделать какой-то фамильярный жест. Взгляды гостей обратились на эту пару; матери поджали губы, родственники Огюста изумленно переглянулись.



– Ах, какая шалунья! – умиленно прошептала госпожа Жоссеран, достаточно громко, чтобы ее слышали.

Ортанс, стоявшая рядом с ними, вторила сестре с шутливым усердием, подталкивая ее к молодому человеку; свежий воздух, врывавшийся в приоткрытое окно за их спинами, легонько колыхал длинные красные шелковые занавеси.

Но тут раздался замогильный бас, и все головы повернулись к роялю. Кампардон, широко открыв рот, обрамленный взметнувшейся в порыве артистического вдохновения бородой, исполнил речитатив, открывающий сцену:

«Итак, мы здесь сошлись по воле королевы!»

В тот же миг Клотильда проиграла восходящую, затем нисходящую гамму, после чего, воздев глаза к потолку, испустила трагический вопль:

«О, я трепещу!»

И началась сцена, в которой восемь адвокатов, служащих и рантье, уткнувшись в свои партии, словно школьники, заучивающие страницу греческого текста, клялись, что готовы освободить Францию. К несчастью, этот дебют потерпел фиаско: под низким потолком квартиры голоса звучали глухо и вырождались в невнятный гул, напоминавший скрип нагруженных булыжниками повозок, от которого дрожали оконные стекла.

Однако, едва прозвучала мелодичная фраза Сен-Бри: «За это святое дело...» – вводящая главную тему произведения, дамы освоились с музыкой и понимающе закивали. Напряжение возрастало, сеньоры хором восклицали: «Клянемся!.. Мы пойдем за вами!» – и каждый такой взрыв голосов поражал гостей в самое сердце.

– Они поют слишком громко! – шепнул Октав на ухо госпоже Эдуэн.

Но она даже не шелохнулась. Тогда Октав, которому наскучил любовный дуэт Невера и Валентины (тем более что баритон – аудитор Государственного совета – пел фальшиво), завел разговор с Трюбло, который в ожидании выхода монахов показывал ему глазами на окно, где Берта продолжала очаровывать Огюста. Они остались там наедине, в легком сквознячке, проникавшем снаружи; Ортанс, которая бдительно прислушивалась к их беседе, выступила вперед, загораживая эту пару от остальных гостей и машинально теребя подхват красной занавеси. Никто больше не следил за ними; даже госпожа Жоссеран и мадам Дамбревиль, обменявшись быстрым, понимающим взглядом, отвели глаза.



Тем временем Клотильда аккомпанировала певцам; музыка целиком захватила ее: она пристально смотрела в ноты, вытянув шею, боясь отвлечься и адресуя пюпитру клятву, обращенную к Неверу:

«Отныне кровь моя лишь вам принадлежит!»

Здесь вступили эшеваны – товарищ прокурора, двое поверенных и нотариус. Их квартет прозвучал яростно и вдохновенно; призыв «За это святое дело!» повторился уже куда громче, подхваченный с возрастающим воодушевлением половиной хора. Кампардон усердно разевал

рот, отдавая боевые приказы утробным басом и свирепо отчеканивая каждый слог. Затем, внезапно, в дело вступили трое «монахов». Трюбло изо всех сил напрягал голос, стараясь достойно пропеть низкие ноты.

Октав, с любопытством следивший за его пением, страшно удивился, когда случайно взглянул на оконные портьеры. Органс, захваченная музыкой, развязала, сама того не заметив, подхват занавесей, и пунцовое шелковое полотнище надежно скрыло от посторонних глаз Огюста и Берту, прислонившихся к подоконнику. Теперь они оба были невидимы, и ни одно движение не выдавало их присутствия у окна. Октав даже отвлекся от Трюбло, который в этот миг благословлял кинжалы заговорщиков: «Благословляем вас, священные клинки!»

Чем это они заняты там, за портьерой? Вот уже началась стретта; в ответ на стенания монахов хор дружно отвечал: «Смерть им! Смерть! Смерть!» А там, за портьерой, не видно было никакого движения, – вероятно, молодые люди, разомлев от жары, просто загляделись в окно на проезжавшие фиакры... Но вот снова повторилась мелодия Сен-Бри, которую поочередно, во все горло, подхватывали другие голоса, все громче и громче подводя ее к мощному, оглушительному финальному аккорду. Это было похоже на свирепый ураган, ворвавшийся в глубину слишком тесной квартиры: от него колебались огоньки свечей, бледнели лица слушателей, болели ушные перепонки. Клотильда в яростном экстазе колотила по клавишам, прожигая взглядом певцов, но скоро их голоса приутихли, и они почти шепотом произнесли напоследок: «Итак, сойдемся в полночь! А пока – ни звука!» – после чего пианистка продолжила играть соло, постепенно сбавляя громкость и переходя к мерной поступи удалявшейся стражи.

И вот тут-то, внезапно, на фоне этих звуков, гости, уже вздохнувшие с облегчением после такого грохота, услышали жалобный голос:

– Вы делаете мне больно!

Публика снова встрепелась, все головы дружно повернулись к окну. Мадам Дамбревиль первая решила на благое дело: она подошла туда, отдернула портьеру, и гости увидели сконфуженного Огюста и Берту с пылающим лицом, прислонившихся к подоконнику.

– Что случилось, сокровище мое? – испуганно воскликнула госпожа Жоссеран.

– Ничего, мама... Просто мне стало жарко, Огюст решил отворить окно и нечаянно задел мое плечо...

И девушка залилась краской. Ее слова были встречены ехидными улыбками и презрительными гримасами, сулившими скандал. Госпожа Дюверье, которая вот уже целый месяц пыталась разлучить своего брата с Бертой, смертельно побледнела, тем более что этот инцидент испортил весь эффект от ее хора. Впрочем, после короткой паузы публика разразилась бурными аплодисментами, пианистку осыпали похвалами, поздравляли с успехом, говорили комплименты мужчинам-исполнителям. Боже, как дивно они пели и сколько трудов госпожа Дюверье положила на то, чтобы добиться от ансамбля такого слаженного исполнения! Поистине, так не поют даже в профессиональном театре!.. Однако сквозь эту бурю комплиментов явственно пробивались шепотки, облетевшие всю гостиную: девушка слишком сильно скомпрометирована, теперь этот брак неизбежен.

– Ну, видал, как он попался, этот простачок? – шепнул Трюбло, подходя к Октаву. – Как будто он не мог ее потискать, пока мы пели!.. Я-то думал, что он воспользуется удобным моментом: знаете, в тех гостиных, где поют, всегда можно потискать даму, а если она заверещит, наплевать – все равно никто не услышит.

Тем временем Берта, уже вполне спокойная, снова беззаботно смеялась, а Органс глядела на Огюста с едкой усмешкой опытной девицы; в торжестве обеих сестер чувствовались уроки их матери, нескрываемое презрение к мужчине. Гости заполнили салон, мужчины смешались с дамами, все говорили громко и оживленно. Жоссеран, перепуганный происшествием с Бертой, подошел к жене. Он с горечью слушал, как она благодарит мадам Дамбревиль, беззастенчиво перевирая факты, за доброту, с которой та относится к их сыну Леону. Его смяте-

ние усугубилось, когда госпожа Жоссеран заговорила о своих дочерях. Она делала вид, будто ведет приватную беседу с мадам Жюзер, однако все ее слова предназначались для ушей Валери и Клотильды, стоявших рядом.

– Ах, боже мой, совсем забыла: дядя Берты как раз сегодня прислал нам письмо; он обещает дать ей в приданое пятьдесят тысяч. Это, конечно, не так уж много, но зато реальные деньги!

Лживые измышления супруги возмутили Жоссерана, и он, не сдержавшись, робко тронул ее за плечо. Она обернулась и глянула на него так, что он съежился и опустил глаза, испугавшись ее злобной гримасы. Затем она обратилась к госпоже Дюверье и куда любезнее, с наигранным интересом, спросила, как себя чувствует ее отец.

– О, папа, наверно, уже лег спать, – ответила молодая женщина, покоренная ее сердечным тоном. – Он так много работает!

Жоссеран подтвердил: да, господин Вабр и в самом деле ушел к себе, чтобы назавтра встать со свежей головой. И продолжал беспомощно бормотать: такой острый ум... такие необыкновенные способности... – с ужасом размышляя, где он возьмет это приданое и как будет выглядеть в день подписания брачного контракта.

Тем временем в гостиной застучали отодвигаемые стулья: дамы переходили в столовую, где их ждал чай. Госпожа Жоссеран направилась туда же с победным видом в окружении дочерей и семейства Вабр. Вскоре в разоренной гостиной осталась только группа солидных господ. Кампардон взял в оборот аббата Модюи, толкуя ему о ремонте в капелле церкви Святого Роха: он утверждал, что готов приступить к работам хоть завтра, так как в приходе Эврё ему почти нечего делать: осталось всего лишь установить калорифер да новые печи в кухнях монастыря, – для наблюдения за этими работами вполне достаточно одного бригадира.

Наконец священник обещал ему окончательно решить этот вопрос на ближайшем же заседании церковно-приходского совета. И оба подошли к группе гостей, которые хвалили Дюверье за текст некоего заключения, авторство которого он приписывал себе; председатель суда, с которым его связывала дружба, поручал ему несложные, но эффектные дела, чтобы дать возможность выдвинуться.

– А вы читали этот новый роман? – спросил Леон, листавший экземпляр «Ревю де дёмонд», взятый со стола. – Прекрасно написано, только вот тема опять все та же – адюльтер; в конце концов, это приедается.

И беседа обратилась к супружеской морали.

– Некоторые женщины ведут себя безукоризненно! – объявил Кампардон.

Все согласились.

– Впрочем, – добавил архитектор, – даже в супружеской жизни можно кое-что позволять себе, если умело между собой договориться.

Теофиль Вабр заметил, что это зависит от жены, но не стал распространяться на данную тему. Решили спросить мнения доктора Жюйера; тот с улыбкой извинился, ограничившись общими словами: мол, добродетель зиждется на здоровье. Тем не менее Дюверье все еще не решался высказаться.

– Ах, боже мой, – прошептал он наконец, – все эти писатели преувеличивают: адюльтер крайне редок в высших слоях общества... Женщина, выросшая в добропорядочной семье, чиста, как цветок...

Он ратовал за благородные, высокие чувства и произносил слово «идеал» с волнением, увлажнявшим его глаза. Вот и сейчас он признал правоту аббата Модюи, когда этот последний заговорил о важности религиозных убеждений у жены и матери семейства. Таким образом, диспут о религии и политике продолжился с того места, на котором эти господа его прекратили. Церковь никогда не умрет, ибо она надежная основа семьи, какой всегда была для правителей.

– Наряду с полицией, но об этом я умолчу, – пробормотал доктор.

Впрочем, Дюверье не поощрял политические диспуты у себя в доме; он покосился на столовую, где Берта и Ортанс усердно потчевали Огюста бутербродами, и решительно заявил:

– Господа, я напому вам один непреложный факт: религия облагораживает брак.

В тот же момент Трюбло, сидевший на диване подле Октава, шепнул ему на ухо:

– Кстати, не желаете ли, чтобы я устроил вам приглашение к одной даме, у которой можно поразвлечься?



И когда его приятель пожелал узнать, какого рода эта особа, указал кивком на советника суда и шепнул:

– Его любовница.

– Не может быть! – изумленно воскликнул Октав.

Трюбло прижмурился и кивнул: да, именно так. Когда женишься на такой бездушной особе, которой противна мужняя немощь и которая с утра до вечера барабанит по клавишам, сводя с ума всех окрестных собак, поневоле приходится искать утехи на стороне!

– Защитим брак от скверны разврата, господа, защитим брак! – твердил Дюверье, с постылым видом святоши и вдохновенным лицом праведника, на котором Октаву чудился теперь зловещий отсвет тайных пороков.

Но тут мужчин призвали в столовую сидевшие там дамы. Аббат Модюи, на минуту задержавшийся в опустевшем салоне, наблюдал издали за всей этой суетой. На его пухлом, хитроватом лице застыло выражение печали.

Уж он-то, исповедующий этих дам и девиц, изучил их так же досконально, как доктор Жюйера, и со временем научился заботиться только о внешних приличиях как пастырь, набрасывающий на эту развращенную буржуазию покров религии и со страхом ожидающий неизбежного финального скандала, когда эта скрытая язва выйдет на свет божий. Иногда этого священника, с его чистой, пламенной верой, одолевало искреннее возмущение их нравами. Но сейчас он заставил себя улыбнуться, принимая из рук Берты чашку чая, поболтал с ней, желая прикрыть своей святостью скандальное происшествие у окна, и снова превратился в светского человека, требующего от своих прихожанок лишь одного: чтобы эти грешницы вели себя пристойно хотя бы на публике и не позорили имя Господне.

– Ничего себе! – буркнул Октав, чье почтение к этому дому получило новый удар.

Заметив, что госпожа Эдуэн направилась в прихожую, он решил догнать ее и пошел следом за Трюбло, который также собрался уходить. Октав намеревался проводить свою хозяйку. Но она отказалась: часы только-только пробили полночь, а она жила близко отсюда. В этот момент из букетика, украшавшего ее корсаж, выпала одна роза; Октав с досады поднял ее и сделал вид, будто хочет сохранить на память.

Молодая женщина нахмурила красивые брови, потом, как всегда спокойно, сказала:

– Отворите же дверь, господин Октав... Благодарю.

И она спустилась по лестнице, а он, крайне раздосадованный, пошел искать Трюбло. Но Трюбло, как давеча у Жоссеранов, куда-то исчез. Вероятно, он сбежал через кухонный коридор. И приунывшему Октаву ничего не осталось, как идти спать с розой в руке. Наверху он столкнулся с Мари, которая ждала на том же месте, где он ее оставил: она смотрела вниз, перегнувшись через перила, вслушивалась в его шаги, подстерегала его, глядя, как он поднимается. И затащила к себе со словами:

– Жюль еще не вернулся... Ну как вы там развлекались? Много ли было нарядных дам?

Она забрасывала Октава вопросами, не дожидаясь ответа. И вдруг, заметив розу у него в руке, воскликнула с детской радостью:

– Это вы мне принесли цветок? Значит, вы там подумали обо мне?... Ах, какой вы милый... какой милый!..

Она смотрела на Октава влажными глазами, смущенная, красная от волнения.

И Октав, внезапно растрогавшись, нежно поцеловал ее.

Около часа ночи Жоссераны тоже вернулись к себе. Адель, как всегда, оставила для них в передней на стуле подсвечник и спички. Когда члены семейства, не обменявшиеся на лестнице ни словом, оказались в столовой, откуда вечером выходили в полном отчаянии, на них внезапно напало какое-то безумное веселье: взявшись за руки, они пустились в дикарский пляс вокруг стола; даже отец и тот заразился этим неумным ликованием, мать отбивала такт, хлопая в ладоши, девицы выпускали бессвязные восклицания, а свеча на столе отбрасывала их огромные тени, метавшиеся по стенам.

– Ну наконец-то, дело сделано! – вскричала госпожа Жоссеран, рухнув на стул и шумно отдуваясь. Но тут же встала и, подбежав к Берте, наградила ее двумя смачными поцелуями в щеки. – Ах, как я довольна, я очень довольна тобой, душечка! Ты вознаградила меня за все мои усилия... Бедная доченька, бедная моя девочка, на сей раз это удалось!

Ее голос прерывался от волнения, сердце готово было выпрыгнуть из груди. Она задыхалась в своем огненно-красном платье от нахлынувшего глубокого, искреннего волнения в этот миг торжества, после трех зим изнурительной осады. Берте пришлось поклясться, что она хорошо себя чувствует, ибо мать, сочтя ее бледной, засуетилась и решила непременно приготовить ей чашку липового отвара. А когда Берта наконец легла спать, мать вошла в ее комнату и заботливо подоткнула одеяло дочери, как в далекие дни ее детства.

Тем временем Жоссеран поджидал супругу в постели. Она задула свечу, перебралась через него, чтобы лечь к стенке. А ее муж никак не мог заснуть, размышляя о случившемся,

терзаясь сомнениями и угрызениями совести из-за ложного обещания пятидесяти тысяч франков приданого. И наконец решился высказаться вслух. К чему было давать такое обещание, если неизвестно, удастся ли его сдержать?! Ведь это нечестно!

– Нечестно?! – вскричала в темноте госпожа Жоссеран, вновь обретя свой всегдашний грозный голос. – Я вам скажу, сударь, что называется нечестным, – нечестно делать из своих дочерей старых дев, а вы как будто только об этом и мечтали!.. Черт возьми, да у нас еще полно времени, чтобы как-то выкрутиться; мы будем уговаривать дядюшку и в конце концов уломаем... И запомните, что в моей семье все были честными людьми!

VI

На следующее утро, в воскресенье, проснувшийся Октав еще с час беззаботно нежился в теплой постели. Он был счастлив и полон душевной ясности мыслей – спутницы ленивой утренней истомы. К чему суетиться?! Ему хорошо в «Дамском Счастье», здесь он очистился от провинциального налета и теперь был преисполнен твердой уверенности в том, что когда-нибудь завоюет госпожу Эдуэн, что она составит его счастье и благополучие; требуются лишь осторожность и терпеливая тактика обольщения, что вполне отвечало его характеру сладострастного любителя женщин. Он начал было задремывать, все еще строя планы на будущее, отводя себе полгода на достижение успеха, и тут воспоминание о Мари Пишон окончательно утомило его нетерпеливые помыслы. Такая женщина очень удобна: Октаву достаточно было поманить, когда он хотел ее; вдобавок она не стоила ему ни гроша. В ожидании победы над той, другой, лучшего и желать не приходилось. Мысль об этой выгоде, об этом удобстве окончательно разморила его: в полудреме Мари представлялась ему такой милой, такой нежной и преданной, что он обещал себе отныне быть с ней полубезнее.

– Черт побери, неужто уже девять?! – воскликнул Октав, окончательно разбуженный боем стенных часов. – Пора, однако, вставать.

За окном сеял мелкий дождичек, и он решил не выходить из дому до вечера. Лучше принять приглашение Пишонов, на которое он доселе отвечал отказом из страха перед четой Вьюомов. Его приход польстит Мари, а он улучит возможность обнять ее где-нибудь за дверью; более того, вспомнив, что она давно просила у него новые книги, он решил сделать ей приятный сюрприз и преподнести несколько романов, заваливавшихся у него в чемодане на чердаке. Одевшись, он спустился к Гуру и попросил у него ключ от общего чердака, куда жильцы сваливали ненужные старые вещи.

Этим дождливым утром из-за жаркого отопления в вестибюле и на лестничной клетке стояла удушливая жара, от которой стенные панели «под мрамор», высокие зеркала и двери красного дерева подернулись испариной.

У подъезда женщина в лохмотьях – мамаша Перу, которой Гуры платили четыре су в час за «грязные» работы в доме, – мыла тротуар, не жалея воды, под холодным сквозняком из подворотни.

– И не ленись, старая чертовка, три как следует, до блеска, и чтоб ни пятнышка! – кричал ей тепло одетый Гур, стоя в дверях дома.

Увидев подходившего Октава, он заговорил с ним о мамаше Перу с хамским презрением бывшего лакея, желающего взять реванш за бывшее лакейство: теперь уже он нанимал себе прислугу.

– От этой неряхи ничего путного не добьешься! Хотел бы я посмотреть, как она прислуживала бы господину герцогу! Вот уж где надо было стараться вовсю!.. Если она не отмоет все дочиستا, за мои-то деньги, я ее вышвырну отсюда! Уж я-то знаю в этом толк... Но, простите, господин Муре, вы что-то хотели?

Октав попросил у него ключ от чердака. Однако консьерж не спешил исполнить его просьбу и продолжал объяснять, что если бы они с супругой пожелали, то давно уже поселились бы себе, как почтенные обыватели, в Мор-ля-Виль, в собственном домике; вот только госпожа Гур обожает Париж, хотя из-за распухших ног не выходит на улицу, и не хочет покидать город; поэтому они пока копят денежки, откладывая каждый медный грош, чтобы обеспечить себе приличную ренту и жить на скромное состояние.

– И я не потерплю, чтобы мною понукали! – объявил он в заключение, приняв величавую позу красавца-мужчины. – Я ведь работаю не за-ради куска хлеба... Так что вы хотели, господин Муре? Ах да, ключ от чердака. Куда мы положили ключ от чердака, мамочка?

Госпожа Гур, уютно пристроившись у камина, чье пламя весело освещало просторную комнату, мирно попивала кофе с молоком из серебряной чашки. Нет, она не знает, где лежит ключ, – может, где-то в комод? Обмакивая в кофе ломтики поджаренного хлеба, она не спускала глаз с двери черного хода, на другом конце двора, еще более пустынного и голого в этот дождливый день, чем обычно.

– Ага, вот она! – внезапно воскликнула госпожа Гур, когда оттуда вышла женщина.

Гур тотчас встал перед дверью, чтобы загородить незнакомке дорогу, и та замедлила шаг, с тревогой глядя на него.

– Мы с самого утра подстерегаем эту особу, господин Муре, – сообщил он вполголоса. – Заприметили ее еще вчера вечером... Знаете, от кого она идет? От столяра – он живет там, наверху, единственный мастеровой, которого допустили в наш дом. И вот результат! Если бы хозяин ко мне прислушался, то не стал бы сдавать эту комнату – ведь это каморка служанки, расположенная далеко от съемных квартир. И всего-то сто тридцать франков в год – стоило ли за такие гроши терпеть подобные мерзости у себя в доме!.. – И, прервавшись, грубо спросил у женщины: – Вы откуда идете?

– Да оттуда, сверху, черт возьми, – ответила она, не останавливаясь.

И тут консьерж раскричался вовсю:

– Мы не желаем тут никаких женщин, слышите вы? Мы уже предупреждали квартиранта, который вас принимает... Если вы еще раз заночуете здесь, я приведу полицейского, да-да, сам приведу, – и тогда мы посмотрим, захочется ли вам потом творить свои мерзости в нашем почтенном доме!

– Да отстаньте вы, надоели! – отрезала женщина. – Я тут у себя дома; захочу, так и вернусь!

И она удалилась, сопровождаемая возмущенными выкриками Гура, грозившего тотчас пожаловаться домохозяину. Виданное ли дело – терпеть эту развратную дрянь рядом с почтенными жильцами, в доме, где не допускают никаких неприличий!.. Казалось, эта каморка, где ютился мастеровой, позор для дома, настоящая клоака, наблюдение за которой уязвляет почтенного привратника, мешая ему спать по ночам.

– Так как же насчет ключа? – робко напомнил ему Октав.

Но консьерж, разъяренный тем, что жилец стал свидетелем его унижения, с удвоенной злобой напал на мамашу Перу, чтобы все видели, как ему тут повинуются. Она что, издевается над ним?

Старуха, неуклюже взмахнув шваброй, забрызгала дверь ложи консьержа. Как?! Он платит ей из своего кармана, чтобы не пачкать руки самолично, а получается, должен еще и подтирать за ней?! Да пропади все пропадом, если он еще хоть раз пожалеет ее и наймет для уборки! Пусть подыхает с голоду! Бедная женщина, сломленная усталостью от непосильной работы, не отвечала; она продолжала тереть плитки костлявыми руками, сдерживая слезы перед этим важным, осанистым господином в ермолке и домашних туфлях, который внушал ей почти-тельный страх.

– Ах, я вспомнила, дорогой! – воскликнула госпожа Гур из своего кресла, в котором проводила целые дни, согревая свои пухлые тела. – Я же сама спрятала его под рубашками, чтобы горничные не лазили без дела на чердак... Достань его и отдай господину Муре...

– Уж эти горничные... одна морока с ними, – пробормотал Гур, со времен своего лакейства так и не избывший стойкую неприязнь к слугам. – Возьмите ключ, сударь, только не считите за труд потом спуститься и вернуть его мне; стоит оставить какую-нибудь каморку открытой, как эти горничные тотчас забираются туда, чтобы блудить.

Октаву не хотелось выходить на мокрый двор; он поднялся по парадной лестнице до пятого этажа и только там перешел на черную, через дверь, расположенную рядом с его комнатой. Длинный коридор наверху дважды поворачивал под прямым углом; его светло-жел-

тые стены с более темной охристой полосой внизу напоминали больничные; двери каморок для прислуги, одинаковые и также желтые, шли одна за другой, через равные промежутки. От цинковой крыши веяло ледяным холодом. В этом голом, чистом, узком пространстве стоял пресный запах бедного жилья.

Слуховые оконца чердачного помещения, в самом конце правого крыла дома, выходили во двор. Но Октав, который поднимался сюда лишь однажды, в день своего вселения, по ошибке свернул в левое крыло, как вдруг картина, увиденная в приоткрытой двери одной из каморок, повергла его в полное изумление. Какой-то господин без пиджака, в одной рубашке, завязывал белый галстук, стоя перед маленьким зеркалом.

– Как, это вы?! – воскликнул Октав.

Это был Трюбло. Тот и сам в первое мгновение ошеломился от неожиданности: сюда, на чердак, никто никогда не поднимался в такое время дня. Октав, вошедший в каморку, изумленно оглядывал его в этом окружении: узкая железная кровать, туалетный столик с умывальником, раковина с мыльной водой, где плавал клоч длинных волос; затем, увидев черный фрак, висевший среди фартуков, не удержался от возгласа:

– Неужто вы спите здесь с кухаркой?

– Да нет же! – испуганно ответил Трюбло.

Потом, осознав всю нелепость своей лжи, рассмеялся с обычным, уверенным и самодовольным видом:

– Поверьте, мой дорогой, она очень забавна!.. И знаете, в ней даже есть некоторый шик!..

Ужиная в гостях, Трюбло частенько пробирался в кухню, чтобы ущипнуть кухарку, суетившуюся у плиты, и, если та давала ему ключ от своей каморки, сбегал из гостиной еще до полуночи и терпеливо ждал ее там, сидя на сундучке, в своем черном фраке и белом галстуке. А на следующее утро, часов в десять, он спускался по парадной лестнице и проходил мимо привратника так спокойно, словно нанес утренний визит кому-то из жильцов. Его отец требовал одного: чтобы он вел себя пристойно на службе, в конторе биржевого маклера. Впрочем, сын, как правило, с полудня до трех часов дня торчал на бирже. Зато по воскресеньям ему случалось проводить весь день в постели служанки; он леживал там, счастливый и беспечный, уткнувшись носом в подушку.

– И это вы – человек, которого ждет богатство?! – воскликнул Октав, не в силах скрыть безразличную гримасу.

В ответ Трюбло самоуверенно объявил:

– Милый мой, не говорите о том, чего не знаете!

И начал расхваливать Жюли – сорокалетнюю крестьянку родом из Бургундии, толстуху с широким лицом, испещренным оспинами, но зато с роскошным телом.

– Вы можете раздеть всех дам, хозяек светских салонов, – все они сушие скелеты, ни одна ей и в подметки не годится! И при этом она вполне достойная особа, – добавил он, выдвинув в доказательство сказанного ящички комода и показав Октаву шляпку, украшения и сорочки, отделанные кружевами, – все это явно было украдено у госпожи Дюверье.

Теперь Октав и сам отметил кокетливое убранство комнатки – позолоченные картонные коробочки на комод, кретоновую занавеску, прикрывающую вешалки с юбками, словом, все ухищрения кухарки, строящей из себя «благородную даму».

– Да, поверьте мне, с Жюли никто не сравнится! – уверял Трюбло. – Ручаюсь... Эх, если бы они все были как эта!..

Но тут со стороны черной лестницы послышались шаги. Это была Адель, которая шла мыть уши, – госпожа Жоссеран запретила ей притрагиваться к мясу, пока Адель не отмоеет их с мылом. Трюбло, выглянувший в полуоткрытую дверь, узнал ее.

– Закройте поскорее дверь! – испуганно прошептал он. – Тихо, ни слова!

Он настороженно вслушивался в тяжелую поступь Адель, шагавшей по коридору.

– Так вы что, и с этой тоже спите? – спросил Октав, удивленный его бледностью: он догадывался, что Трюбло боится скандала.

Однако тот трусливо ушел от прямого ответа:

– Нет-нет, что вы! Только не с этой замарашкой!.. За кого вы меня принимаете?!

И он присел на край кровати, ожидая, когда сможет закончить одевание, и умоляя Октава не двигаться; так они оба и замерли, пока эта неряха Адель отмывала уши, что заняло у нее больше десяти минут. Они явственно слышали, как она усердно полощет руки в тазу.

– А ведь между ее комнатой и этой находится еще одна, – объяснял шепотом Трюбло, – ее снимает какой-то мастеровой, кажется столяр, который весь коридор провонял своим луковым супом. Он и нынче утром его варил, меня просто затошнило... Знаете, во всех здешних домах перегородки между комнатками прислуги тоньше бумаги. Не понимаю я этих домовладельцев! Это же попросту аморально – человек не может повернуться в своей кровати, чтобы соседи его не услышали... Я считаю, это очень неудобно.

Когда Адель спустилась к Кампардонам на кухню, он слегка приободрился и завершил свой туалет, воспользовавшись помадой для волос и гребешком Жюли. Октав сказал, зачем он шел на чердак, и Трюбло объявил, что проводит его: он тут знает все ходы и выходы. Шагая мимо дверей, он бесцеремонно называл имена обитателей этой части коридора: после Адель – Лиза, горничная Кампардонов, развеселая девица, которая развлекается где-то на стороне; дальше – Виктория, их же кухарка, унылая семидесятилетняя толстуха, единственная, не удостоившаяся его внимания; и, наконец, Франсуаза, только накануне принятая на службу к мадам Валери; возможно, ее сундучок простоит в каморке какие-нибудь сутки, за убогой кроватью, через которую проходили такие полчища девиц, что Трюбло всегда приходилось проверять, которая из служанок нынче к его услугам, перед тем как нырнуть к ней под одеяло; далее – вполне пристойная супружеская пара на службе у жильцов со второго этажа; затем их кучер, о котором Трюбло отозвался с завистью красивого самца, подозревая, что тот бесшумно крадется от двери к двери, делая свое черное дело; а в самом конце коридора – Клеманс, горничная госпожи Дюверье, которую дворецкий Ипполит, ее сосед, навещает каждый вечер с пунктуальностью законного мужа; и, наконец, малышка Луиза, пятнадцатилетняя сиротка, взятая на испытание госпожой Жюзер, – если у девчонки чуткий сон, то она, верно, много чего наслушается тут по ночам!

– Прошу вас, мой милый, не запирайте дверь чердака, окажите мне такую услугу, – сказал он Октаву, после того как помог ему собрать книги, лежавшие в чемодане. – Понимаете, когда чердак открыт, всегда можно затаиться тут и ждать.

Октав согласился обмануть доверие консьержа и вернулся в каморку Жюли вместе с Трюбло, который забыл там свое пальто. Потом тот начал разыскивать перчатки и, не находя их, перетряхнул все юбки, расшвырял одеяла и поднял такую пыль, что его напарник, чуть не задохнувшись от едкого запаха несвежего белья, вынужден был отворить окно. Оно выходило в узкий внутренний двор, как и окна всех кухонь этого дома. Октав поднял голову, стараясь не вдыхать влажные, жирные испарения со дна этого смрадного колодца, но внезапный взрыв голосов заставил его нырнуть обратно в комнату.

– Легкая утренняя перебранка, – объяснил Трюбло, стоявший на четвереньках под кроватью: он все еще искал свои перчатки. – Вы только прислушайтесь!

Это была Лиза; облокотившись на подоконник кухни Кампардонов, она высунулась наружу, чтобы расспросить Жюли, находившуюся двумя этажами ниже:

– Ну как, на этот раз выгорело дело?

– Похоже на то, – отвечала Жюли, задрав голову. – Я вам так скажу: она ему только что в штаны не залезла, а все остальное проделала... Ипполит такого навидался там, в гостиной, что его аж замутило.

– А что было бы, если бы мы с вами позволили себе хоть малую часть таких гадостей! – воскликнула Лиза.

Но тут же отошла вглубь кухни, чтобы выпить чашку бульона, которую принесла ей Виктория. Эти две отлично ладили между собой: горничная покрывала пьянство кухарки, а та помогала ей незаметно выбираться из дому, куда Лиза возвращалась в полном изнеможении, с запавшими глазами, еле держась на ногах.

– Эх, милые мои, какие же вы еще зеленые! – воскликнула Виктория, высунувшись в свой черед из окна рядом с Лизой. – Вот посмотритесь с мое!.. У старика Кампардона была племянница, уж такая воспитанная девица, дальше некуда, – так она подглядывала за мужчинами в замочную скважину!

– Ну и ну! – пробормотала Жюли с возмущением благопристойной женщины. – Будь я на месте этой кривляки с четвертого этажа, я бы отхлестала этого господина Огюста по щекам, кабы он посмел дать волю рукам при всех, в гостиной!.. Ну и фрукт!

При этих словах из кухни мадам Жюзер донесся пронзительный смех. Лиза, стоявшая в окне напротив, вгляделась и заметила там Луизу; пятнадцатилетняя, рано созревшая девчонка с жадным удовольствием подслушивала болтавших слуганок.

– Эта поганка с утра до вечера шпионит за нами! – крикнула она. – Ну кто придумал такое – навязать нам эту сопливуку?! Скоро и поболтать будет нельзя...

Она не договорила: стук чьего-то внезапно отворенного окна заставил ее скрыться. Наступила мертвая тишина. Однако болтовня вскоре началась снова. Эй, что там?.. Кто там?.. Они решили, что их подслушивала Валери или госпожа Жоссеран.

– Да нет, все тихо! – успокоила их Лиза. – Наши барыни сейчас полощутся в своих тазах. Слишком уж дорожат своими драгоценными телесами, чтобы нас подслушивать... Только в это время и удастся передохнуть...

– А у вас там что творится – все то же самое? – спросила Жюли, чистившая морковь.

– Да все то же, – ответила Виктория. – Дохлый номер, мадам запечатана намертво.

Обе ее товарки злорадно хихикнули, довольные этим словцом, безжалостно разоблачавшим одну из их хозяек.

– А как ваш простофиля-архитектор, он-то что делает?

– Как «что»? Кузину распечатывает, черт подери!

И они злорадно захохотали, как вдруг увидели в окне квартиры Валери новую служанку – Франсуазу. Это она всполошила их, растворив окно. Разговор начался с учтивых приветствий:

– Ах, это вы, мадемуазель?

– Ну да, я самая, сударыня. Вот пытаюсь как-то приспособиться, но здешняя кухня выглядит отвратительно!

На новенькую тут же посыпались пугающие советы:

– Коли хотите тут задержаться, наберитесь терпения! У девушки, что служила до вас, все руки были в кровь расцарапаны ребенком хозяйки, а та гоняла ее с утра до вечера; бедняжка плакала горькими слезами, нам даже отсюда было слышать!

– Ах вот как, – ответила Франсуаза. – Ну, со мной у нее это не пройдет. Спасибо, что предупредили, мадемуазель.

– А где она сейчас-то, ваша хозяйка? – с любопытством спросила Виктория.

– Ушла на обед к какой-то даме.

Лиза и Жюли, вытянув шеи, обменялись понимающим взглядом. Уж им ли не знать, что это за дама и что там за обеды: головка книзу, ножки кверху! Ну надо же – так бесстыдно врать! Эти девицы не сочувствовали ее супругу – он, конечно, еще и не такое заслужил, – но когда жена развратничает не хуже супруга, это же позор всему роду людскому!

– Ага, вот и наша неряха пожаловала! – прервала их Лиза, обнаружив служанку Жоссеранов в окне над собой, этажом выше.

И тут же в этой дыре, темной и вонючей, как выгребная яма, излилась потоком громкая площадная ругань. Все служанки, высунувшись из окон, яростно честили Адель, эту грязную, неуклюжую тварь, на которой вымещал злобу весь их двор.

– Нет, ну надо же – она помылась, это даже издали видать!

– Только посмей еще раз вывалить во двор рыбы потроха, я их соберу, поднимусь к вам и харю тебе ими начищу!

– Эй ты, святоша паршивая, иди теперь, жуй тело Христово!..

– Да нет, вы ж не знаете: она эти облатки сует за щеку, чтоб кормиться ими всю неделю! Ошалевшая Адель смотрела на своих товарок сверху, высунувшись по пояс из окна.

И наконец подала голос:

– Эй, вы, оставьте меня в покое! А не то я вас помоями оболью!

Однако крики и хохот зазвучали еще громче:

– Говорят, ты вчера вечером свою молодую хозяйку замуж пристроила? Ну, признавайся, – небось, ты-то ее и обучаешь мужиков охмурять?

– Эх ты, курица бестолковая! Сидишь в ихней норе, где хозяева сами не едят и слуг морят голодом! Вот что меня больше всего злит!.. Дура ты, дура, да пошли ты их подальше!

На глазах у Адель выступили слезы.

– У вас на уме одни только мерзости, – пробормотала она. – Чем я виновата, что сижу голодная?!

Голоса звучали все громче, вот уже и Лиза начала перебранку с Франсуазой, которая взяла сторону Адель, как вдруг та, забыв об оскорблениях и инстинктивно приняв сторону своих товарок, крикнула:

– Тише! Вот мадам!..

Мгновенно воцарилась мертвая тишина. Все служанки торопливо нырнули в свои кухни, и теперь из темного колодца узкого двора поднималась только вонь немытых раковин, такая же тошнотворная, как тайные пороки господских семей, разоблаченные озлобленной прислугой.

Этот двор был своего рода отхожим местом дома, куда слуги выплескивали все постыдное и тайное, пока господа еще только вставали с постелей, а парадная лестница торжественно соединяла этажи в неслышном, душном тепле калорифера. Октаву вспомнились грубые выкрики служанок, так поразившие его в кухне Кампардонов в самый день приезда.

– Ай да девицы, ничего себе! – бросил он своему приятелю.

И в свой черед выглянул из окна, обшаривая взглядом стены и дивясь тому, что не сразу разгадал истории обитателей дома, скрытые за панелями фальшивого мрамора и раззолоченной гипсовой лепниной.

– Да куда же, черт возьми, она их засунула? – твердил Трюбло, обшаривший в поисках своих белых перчаток все, что можно, вплоть до ночного столика.

В конечном счете они нашли в самой постели, сплюснутые и сохранившие ее тепло. Трюбло в последний раз оглядел себя в зеркале и пошел прятать ключ от комнаты в условленном месте, в конце коридора, под старым буфетом, оставленным каким-то жильцом, затем спустился вместе с Октавом по парадной лестнице. Проходя мимо квартиры Жоссеранов, он приосанился, застегнул доверху сюртук, чтобы скрыть рубашку и галстук, и сказал намеренно громко:

– До свидания, мой милый! Я, знаете ли, беспокоился и зашел провести наших дам, узнать новости... Похоже, они сегодня отлично выспались... Ну-с, до скорого!

Октав с ухмылкой смотрел ему вслед. Близился уже час обеда, и он решил вернуть ключ от чердака попозже. За столом у Кампардонов он с особым интересом разглядывал Лизу, подававшую блюда. Она выглядела, как всегда, опрятной и приветливой, а у него в ушах все еще звучал ее хриплый голос, выкрикивающий непристойности. Чутье на женщин не обмануло Октава насчет этой плоскогрудой девицы. Впрочем, госпожа Кампардон по-прежнему нахваливала ее,

дивясь тому, что служанка не ворует, – так оно и было, ибо Лиза грешила совсем не этим. Вдобавок она с большой добротой относилась к Анжель, и мать полностью доверяла ей.

Как раз сегодня Анжель вышла из столовой перед самым десертом, и они слышали, как она смеется в кухне. Октав рискнул дать хозяевам совет:

– Мне кажется, вам не следовало бы позволять дочери так свободно знаться со слугами.

– О, я не вижу в этом ничего плохого, – ответила мадам Кампардон, как всегда томно. – Виктория служила в семье еще до рождения моего мужа, да и в Лизе я абсолютно уверена... А кроме того, что вы хотите? Эта малышка меня утомляет. Я бы просто сошла с ума, если бы она постоянно вертелась около меня.

Архитектор с важным видом жевал недокуренную сигару.

– Это я сам, – сказал он, – заставляю Анжель проводить часок-другой в кухне после обеда. Хочу, чтоб она стала домовитой хозяйкой. Там она многому научится... Она ведь никогда не выходит на улицу, милый мой, – вечно у нас под крылом. Вот увидите, какую чудесную хозяйку дома мы из нее сделаем!

Октав не стал ему перечить. Порой Кампардон казался ему круглым дураком, и, когда архитектор стал уговаривать его посетить церковь Святого Роха, чтобы послушать тамошнего замечательного проповедника, он отговорился тем, что решил сегодня посидеть дома. Предупредив госпожу Кампардон, что нынче вечером не будет у них ужинать, Октав начал было подниматься в свою комнату, как вдруг почувствовал в кармане тяжесть ключа от чердака и предпочел, не откладывая, вернуть его консьержу.

Однако на площадке его заинтересовало неожиданное зрелище. Дверь студии, снятой весьма изысканным господином, чье имя ему так и не назвали, была распахнута, и это явилось полной неожиданностью, так как она постоянно была заперта, и в комнате царила мертвая тишина. Его изумление возросло, когда он начал искать взглядом письменный стол жильца и обнаружил вместо него в углу широкую кровать; в следующий миг он увидел выходящую из студии хрупкую даму в черном под густой вуалью, скрывавшей ее лицо. Когда она переступила порог, дверь бесшумно затворилась.

Крайне заинтригованный, Октав начал спускаться следом за этой дамой, желая посмотреть, хорошенькая ли она. Но женщина почти бежала, с боязливой легкостью ступая по лестничной ковровой дорожке и оставляя за собой лишь еле уловимый аромат вербены. Когда Октав спустился в вестибюль, она уже скрылась из виду, и он нашел у крыльца только Гура, который проводил ее почтительным поклоном, сняв свою ермолку.

Молодой человек вернул консьержу ключ от чердака и попытался его разговорить.

– А она выглядит вполне пристойно, – сказал он. – Кто такая?

– Одна дама, – коротко ответил Гур.

Больше он не пожелал добавить ни слова. Зато соблаговолил кое-что рассказать про жильца с четвертого этажа. О, это человек из высшего общества, а студию у них снимает, чтобы спокойно работать, и приходит сюда раз в неделю, на ночь...

– Ах вот как, он работает?! – прервал его Октав. – И над чем же?

– Мне он поручил заниматься там уборкой, – продолжал Гур, сделав вид, будто не слышал вопроса. – И платит, знаете ли, аккуратнейшим образом... Когда убираешь у кого-нибудь, сразу ясно, с кем имеешь дело. Этот господин – человек в высшей степени приличный, по его белью сразу видать.

Тут ему пришлось посторониться, да и сам Октав на минуту вошел в дом, чтобы пропустить выезжавший со двора экипаж жильцов с третьего этажа, отправлявшихся в Булонский лес. Кони нетерпеливо ржали, кучер с трудом удерживал их, туго натягивая вожжи, и, когда большая закрытая карета прокатилась под сводами двора, Октав успел разглядеть за стеклами окошечка двух прелестных детей, чьи улыбающиеся личики заслоняли неясные профили их родителей. Гур выпрямился с вежливым, но холодным видом.

– Вот эти, по-моему, не слишком шумят в доме, – заметил Октав.

– У нас в доме никто не шумит, – сухо ответил консьерж. – Здесь каждый живет как считает нужным, вот и все. Только вот одни люди умеют жить, а другие – не умеют.

Жильцов с третьего этажа в доме строго осуждали за то, что они ни с кем здесь не знались.

Они выглядели богачами, хотя глава семьи работал всего-навсего в книжном издательстве, и Гур относился к ним с крайним презрением: ему было непонятно, как это они живут вполне счастливыми сами по себе, ни с кем в доме не ведя знакомства. Ему это казалось подозрительным.

Октав уже входил в вестибюль, как вдруг к подъезду подошла Валери, и он учтиво посторонился, чтобы пропустить ее вперед.

– Как вы поживаете, мадам? – спросил он.

– Прекрасно, благодарю вас.

Она запыхалась, поднимаясь по лестнице; Октав, который шел следом, увидел ее забрызганные грязью ботинки, и ему вспомнился пресловутый «обед», о котором говорили служанки, – «головка книзу, ножки кверху». Видно было, что Валери не нашла свободного фиакра и шла пешком. От ее промокших юбок шел терпкий, теплый запах. Усталость, томное изнеможение всего тела периодически заставляли ее поневоле хвататься за перила.

– Какая ненастная погода, не правда ли?

– Ужасная... И атмосфера такая тяжелая, душная.

Она поднялась на второй этаж, и они кивнули друг другу на прощанье. Однако даже в это короткое мгновение Октав успел разглядеть ее осунувшееся лицо, набрякшие от усталости веки, спутанные волосы под наспех надетой шляпкой и, поднимаясь дальше по лестнице, продолжал уязвленно размышлять над этим, чувствуя, как им овладевает злость. Почему же она не уступает ему? Он не глупее и не безобразнее, чем другие!

На четвертом этаже, когда Октав проходил мимо квартиры мадам Жюзер, у него всплыло в памяти вчерашнее обещание. Его очень интересовала эта маленькая женщина, такая скромная на вид, с глазами цвета незабудки. И он позвонил в ее дверь. Ему открыла сама госпожа Жюзер:

– Ах, это вы, сударь! Как любезно с вашей стороны! Входите же!

В квартире было уютно, хотя и душновато из-за обилия ковров и портьер; мягкие, как перина, кресла и диван, а также теплый застоявшийся воздух уподобляли ее ларцу, обитому старинным атласом с вытканными на нем ирисами. В гостиной, которой плотные двойные занавеси придавали сходство с исповедальней, Октава усадили на широкий, приземистый диван.

– Вот это кружево, – продолжала мадам Жюзер, внося в комнату сандаловую шкатулку. – Я хочу подарить его кое-кому, и мне интересно было бы узнать стоимость.

В шкатулке лежал кусок старинного английского, очень красивого кружева. Октав осмотрел его со знанием дела и в конечном счете оценил в триста франков. Затем, не ожидая продолжения, наклонился к шкатулке, где они сообща перебирали кружева, и поцеловал ручки хозяйки, крохотные, как у маленькой девочки.

– О господин Октав, что это вы вздумали... в моем-то возрасте! – кокетливо прошептала мадам Жюзер, ничуть не рассердившись.

Ей было тридцать два года, но она объявляла себя «очень старой». И как всегда, привычно заговорила о своих несчастьях:

– О боже, в одно прекрасное утро, через десять дней после свадьбы, мой жестокий супруг исчез и так и не вернулся; никто не знает почему. Вы должны понять, – продолжала она, воздев глаза к потолку, – после таких ударов судьбы с любовью для женщины все кончено.

Тем не менее Октав не выпускал ее пальчики, терявшиеся в его руке, продолжая покрывать их легкими поцелуями. Мадам Жюзер обвела его затуманенным взглядом и прошептала с материнской нежностью лишь одно слово:

– Дитя!

Решив, что его поощряют, Октав обнял ее за талию и попытался опрокинуть на диван, но она, мягко уклонившись, рассмеялась, сделав вид, будто приняла его маневры за простую игру:

– Нет-нет, оставьте меня, не трогайте, если хотите, чтобы мы остались добрыми друзьями.

– Так, стало быть, нет? – тихо спросил он.

– Что значит «нет»? Что вы хотите этим сказать?.. Вот моя рука... ну и целуйте ее, сколько вам будет угодно!

Октав снова взял ее за руку. Но на сей раз стал целовать ее ладонь, а она превращала эту игру в шутку, томно прикрывая глаза и расставляя пальцы, – так кошка убирает когти, чтобы ей щекотали подушечки лап. Однако она не позволила ему целовать руку выше кисти. В первый день это была граница, за которой игра становилась опасной.

– К вам господин кюре идет! – объявила внезапно появившаяся Луиза, которая вернулась домой с покупками.

У этой сиротки был нездоровый, желтый цвет лица и бессмысленное выражение, как у подкидышей, которых оставляют у чужих дверей. Увидев незнакомого господина, который словно ел что-то из руки хозяйки, она было загоготала, но мадам Жюзер так строго взглянула на нее, что девушка поспешила ретироваться.

– Ах, боюсь, из нее ничего хорошего не выйдет, – со вздохом сказала мадам Жюзер. – Но нужно все-таки пытаться направить на путь истинный хотя бы одну из этих заблудших душ... Идемте, господин Муре, вам лучше пройти там.

Она провела его к выходу через столовую, чтобы освободить гостиную для священника, которого впустила Луиза. И на прощанье пригласила заходить еще, чтобы поболтать. Его общество развлечет ее, она чувствует себя такой одинокой, ей всегда так грустно! К счастью, у нее есть хотя бы это утешение – религия!

Ближе к вечеру, часам к пяти, Октав в ожидании ужина наслаждался подлинным отдыхом в квартире Пишонов. Прежде дом слегка пугал молодого человека; теперь же, избавившись от провинциальной робости перед внушительной роскошью парадной лестницы, он начал относиться с растущим презрением к тому, что творилось, как он угадывал, за этими высокими дверями красного дерева. Октав уже не знал, что и думать о здешних почтенных дамах, чье ледяное высокомерие еще недавно наводило на него страх; теперь ему казалось, что их стоит только поманить, и они уступят; если же одна из них противилась, это вызывало у него только удивление и злость.

Мари зарделась от радости, когда он выложил на буфет стопку книг, взятых утром на чердаке. Она твердила:

– Ах, какой вы милый, господин Октав! О, благодарю вас, благодарю!.. И как хорошо, что вы пришли пораньше! Не желаете ли выпить коньяку с сахарным сиропом? От этого аппетит проснется.

Октав согласился, желая доставить ей удовольствие. Сейчас ему все здесь казалось приятным – и Пишон с женой, и старики Вьюомы, которые сидели за столом, неспешно пережевывая все то же, что обсуждалось каждое воскресенье.

Время от времени Мари убегала в кухню, чтобы проследить за бараньим рулетом, томившимся в духовке, и Октав осмелился пойти за ней следом, шутливо предложив свою помощь, а там обнял и поцеловал в шею. Мари не вскрикнула, даже не вздрогнула; она обернулась и поцеловала его в губы; ее рот был, как всегда, холодным, и эта прохладная свежесть показалась молодому человеку восхитительной.

– Ну-с, так как ваш новый министр? – спросил он Пишона, вернувшись в комнату.

Чиновник даже подскочил от удивления. Неужели в их Министерстве народного образования будет новый министр? Он ничего об этом не знал, в их канцеляриях никогда не обсуждали такие вещи. И неожиданно сменил тему:

– Ужасная стоит погода! Невозможно пройти по улице, не запачкав брюк!

Госпожа Вюйом начала рассказывать о девушке из Батиньоля, которая плохо кончила:

– Вы не поверите, сударь мой, – она была прекрасно воспитана, но ей до того обрыдла жизнь в родительском доме, что она дважды пыталась выброситься из окна, чтобы покончить с собой. Просто ужасно!

– В таких случаях есть одно лекарство – решетки на окнах! – твердо постановил господин Вюйом.

Ужин прошел чудесно. Общая беседа за скромным столом, освещенным одной-единственной лампой, не затихала ни на минуту. Пишон и господин Вюйом начали перебирать персонал министерства, особенно подробно обсуждая начальников отделов и их заместителей: тесть все больше упирал на тех, что работали в его время, потом вспоминал, что они уже покойники; тогда как его зять упрямо говорил о новых, нынешних, и оба то и дело путали одних с другими. Впрочем, мужчины, а с ними и мадам Вюйом сходились в одном: толстяк Шавинья, у которого жена-уродина, сделал ей слишком много детей. Что было, при его скудном достатке, чистым безумием. Октав слушал всех с блаженной улыбкой; ему было хорошо, его разморило, он давно уже не проводил такого приятного вечера и под конец даже принялся горячо осуждать пресловутого Шавинья. Мари умиротворяла его своим светлым, невинным взглядом, ничуть не смущаясь оттого, что он сидел рядом с ее мужем, и потчует обоих согласно их вкусам, с обычным своим видом притомившейся, но покорной служанки.

Ровно в десять часов вечера пунктуальные Вюйомы встали из-за стола. Пишон надел шляпу: каждое воскресенье он провожал стариков до остановки омнибуса. Такое свидетельство почтения вошло у них в обычай сразу после свадьбы молодых, и родители Мари были бы крайне шокированы, если бы зять позволил себе уклониться от этой церемонии. Все трое сворачивали на улицу Ришельё и неспешно брели по ней, высматривая батиньольский омнибус, который всегда был битком набит; часто бывало, что Пишону приходилось идти с тестем и тещей до самого Монмартра; он никогда не посмел бы оставить их одних, не посадив в омнибус. Старики шагали медленно, так что на все это у него уходило около двух часов.

На лестничной площадке все обменялись сердечными рукопожатиями. Вернувшись в квартиру Мари, Октав спокойно сказал:

– Идет дождь, Жюль вернется не раньше полуночи.

А поскольку Лилит уложили спать очень рано, он посадил Мари к себе на колени и допил вместе с ней кофе из одной чашки – точь-в-точь счастливый супруг, который, выпроводив гостей, заперев двери и оставшись наедине с женой у себя в доме, может обнимать ее сколько угодно, возбужденный этим скромным семейным праздником.

Жара навевала дремоту в узкой комнате, где еще витал сладкий ванильный аромат «снежков». Октав осыпал легкими поцелуями шею молодой женщины, как вдруг кто-то постучал в дверь. Мари даже не вздрогнула от испуга, она знала, что это сын Жоссеранов – тот самый, ненормальный. Когда ему удавалось сбежать из квартиры, он являлся к ней поболтать; его привлекала ее мягкость, и они прекрасно понимали друг друга, сидели иногда минут по десять молча, не разговаривая или же перебрасываясь бессвязными короткими замечаниями.

Октав, страшно недовольный, упорно молчал.

– У них там полно народу, – проямлил Сатюрнен. – А мне наплевать, меня даже за стол не сажают... Ну вот, я взломал замок в своей комнате и сбежал. Пускай знают!..

– Они будут беспокоиться, вам бы лучше вернуться, – сказала Мари, видя нетерпение Октава.

Но безумец смеялся, в полном восторге от своей проделки. Потом начал бессвязно рассказывать, чем занимаются у них дома.

Похоже, он приходил всякий раз, как ему хотелось привести в порядок свою память.

– Папа все еще работает каждую ночь... Мама дала пощечину Берте... А скажите, когда женятся, людям больно? – И поскольку Мари не отвечала, он продолжал, все больше распаляясь: – А я не хочу ехать в деревню, вот... И пусть они ее только пальцем тронут, я их задушу ночью, да-да, ночью – это легко, потому что они спят... У нее ладошка такая гладкая, прямо как почтовая бумага... А вот та, другая, мерзкая девка...



Он повторял одно и то же, путался, не в силах выразить то, что с чем пришел. Наконец Мари заставила его вернуться к родителям; бедняга так и не заметил присутствия Октава.

А тот, опасаясь, что их снова потревожат, решил увести молодую женщину в свою комнату. Но она отказалась, внезапно залившись ярким румянцем. Октав не понимал причины ее стыдливости, убеждал, что они услышат шаги Жюля, когда тот будет подниматься по лестнице, и она успеет вернуться к себе; когда же он все-таки попытался увести Мари, она рассердилась, прошептав с возмущением женщины, попавшей в руки насильнику:

– Нет, только не в вашей комнате! Это слишком гадко... Останемся здесь, у меня!

И она убежала от него вглубь квартиры. Октав все еще стоял на пороге, озадаченный этим неожиданным отпором, как вдруг со двора донесся оглушительный шум перебранки. Нет, сегодня ему решительно не везло, и он решил, что лучше идти спать. Переполох в такое непривычное время был настолько неожиданным, что Октав приоткрыл окно и вслушался. Внизу кричал Гур:

– А я вам говорю, что вы не пройдете!.. Я уже предупредил хозяина дома. Вот он сейчас спустится и сам вышвырнет вас вон!

– Еще чего! – отвечал ему грубый голос. – Нешто я не плачу вовремя за квартиру?! А ну давай, Амели, проходи, и пусть только этот господин попробует тебя тронуть, мы уж посмеемся!

Это был мастеровой с верхнего этажа; он вернулся домой вместе со своей супругой, которую выгнали нынче утром. Октав выглянул из окна, но в черной дыре двора были видны только длинные смутные тени, которые метались по стенам, то и дело исчезая в отблесках газового рожка, горевшего в вестибюле.



– Господин Вабр! Господин Вабр! – надрывался консьерж, на которого наседали столяр. – Сюда... скорей... а не то она войдет!

Несмотря на больные ноги, госпожа Гур пошла за хозяином – тот как раз в это время работал над своим монументальным каталогом. Он спустился, и Октав услышал его разъяренные крики, обращенные к мастерскому, который поначалу слегка оробел при виде хозяина:

– Какой скандал!.. Какое безобразие!.. Я никогда не допущу в своем доме подобных мерзостей! Сейчас же уберите отсюда эту женщину... Вы слышите? Мы не допустим таких особ в нашем доме!

– Да это ж моя хозяйка! – ответил растерявшийся столяр. – Она работает прислугой, а сюда приходит только раз в месяц, когда хозяева отпускают... И нечего тут шум поднимать! Вы не запретите мне спать с законной женой, вот так-то!

Тут уж хозяин дома и консьерж разъярились вконец.

– Я вас выгоню отсюда! – заикаясь, кричал господин Вабр. – А пока запрещаю вам превращать мой дом в бордель!.. Гур, вышвырните эту оборванку на улицу! Да-да, я не потерплю

здесь таких гадостей! Когда человек женат, он обязан сообщать об этом... Молчите, вы уже и так достаточно меня оскорбили!

Столяр, человек незлобивый, а сейчас еще и слегка под хмельком, в конце концов расхохотался:

– Ну и порядки у вас... Ладно, раз уж этот господин не в духе, возвращайся к своим хозяевам, Амели. Заделаем мальчика в другой раз. Да-да, мы хотели заделать мальчика... А касательно того, чтоб меня выгнать... так я и сам, черт возьми, съеду от вас! Ни дня больше не останусь в вашем притоне! Тут такие дела творятся – чистая помойка. Господа, видите ли, не желают пускать к себе женщин, а у самих на каждом этаже шлюхи живут, разве только расфуфыренные, и развратничают так, что не приведи господи!.. Да-да, шлюхи как есть, даром что из благородных!

В конце концов Амели ушла, чтобы не подводить своего супруга, а тот все еще продолжал беззлобно насмехаться над хозяевами дома.

В течение этого скандала Гур прикрывал отступление господина Вабра, позволяя себе громкие реплики. Ну и мерзкий же народ эти мастеровые! Стоило допустить в дом одного из них, и он превращает его в бордель!

В конце концов Октав захлопнул окно. Но в тот момент, когда он собирался вернуться к Мари, кто-то кравшийся по коридору легонько задел его на ходу.

– Как... вы опять здесь?! – воскликнул он, узнав Трюбло.

Тот в первый момент опешил. Потом стал объяснять причину своего появления:

– Да, это я... Вот ужинал у Жоссеранов, а теперь поднимаюсь туда.

Октав был возмущен до глубины души:

– Неужели опять с этой замарашкой Адель?! Вы же клялись, что бросите это!

Но Трюбло, уже оправившись от испуга, весело ответил:

– Уверяю вас, мой милый, она просто прелесть!.. Видели бы вы, какая у нее кожа!..

Потом он начал возмущаться столяром, который чуть было не застукал его на черной лестнице, а все из-за этой дурацкой истории с женой. Вот и пришлось ему тайком пробираться по парадной. Расставаясь с Октавом, он напомнил:

– Не забудьте, в ближайший четверг я вас поведу к любовнице Дюверье... Поужинаем вместе!

Дом снова погрузился в сонную тишину, в то почти религиозное безмолвие, которое окутывает безгрешные альковы. Октав вернулся к Мари; она стояла в спальне, возле супружеской постели, и взбивала подушки. А наверху, в каморке Адель, Трюбло, во фраке и белом галстуке, сидел в ожидании на узкой кушетке, поскольку стул был занят тазом и парой старых шлепанцев. Услышав в коридоре шаги Жюли, которая шла спать, он затаил дыхание: его постоянно мучил страх перед женскими сварами. Наконец появилась и Адель. Она была сердита и тотчас напала на него с упреками:

– Ну ты совсем уж обнаглел, мог бы и не наступать мне на ноги, когда я подаю на стол!

– Как?! Это я наступал тебе на ноги?!

– А кто ж еще – конечно ты; только никогда не глядишь на меня, никогда не скажешь «пожалуйста», когда просишь подать хлеб... А сегодня, когда я принесла телятину, и вовсе смотрел на меня как на пустое место... Так что хватит с меня, слышишь? И без того весь дом надо мной потешается. А теперь и ты вместе с ними... ну это уж слишком!

Распалившись вконец, Адель разделась, нырнула под перину на своей скрипучей лежанке и повернулась к Трюбло спиной. Пришлось ему виниться и вымаливать прощение.

А тем временем в соседней каморке столяр, еще не совсем протрезвившись, говорил сам с собой, да так громко, что его слышал весь коридор:

– Нет, ну надо ж такому быть, чтоб человеку не давали спать с собственной женой!.. В этом доме приличных баб ни одной, черт бы их подрал! Вот ты пойдя да сам посмотри, кто у тебя тут кувыркается в каждой постели!..

VII

Вот уже две недели Жоссераны, несмотря на непотребное поведение дядюшки Башляра, чуть ли не каждый вечер приглашали его к себе, чтобы выжать из него приданое.

Когда ему объявили о предстоящей свадьбе Берты, он только слегка потрепал племянницу по щеке со словами:

– Как, ты выходишь замуж? Ну-ну, очень мило, крошка!

И остался глух ко всем намекам, старательно изображая погрязшего в пьянстве беспутного гуляку, едва лишь речь заходила о деньгах.

У госпожи Жоссеран возникла мысль пригласить как-нибудь вечером его и Огюста, жениха Берты, – может быть, знакомство с молодым человеком заставит дядю принять благое решение. Это был весьма смелый план: семейство Жоссеран не любило показывать господина Башляра посторонним, опасаясь, что он их скомпрометирует. Как ни странно, дядюшка повел себя вполне пристойно; вот только на его манишке красовалось большое пятно от сиропа, поставленное, несомненно, за десертом. Но когда его сестра после ухода Огюста начала выпрашивать, понравился ли ему жених, дядюшка осторожно ответил:

– Очень, очень милый молодой человек! – только и всего.

Пора было с этим кончать: время поджимало. И госпожа Жоссеран решила поставить вопрос ребром.

– Ну раз уж сегодня тут все свои, – сказала она, – давайте воспользуемся этим... Оставьте нас, дорогие мои, нам нужно побеседовать с вашим дядей!.. А ты, Берта, займись-ка Сатюрне-ном, последи, чтобы он снова не взломал замок.

Сатюрнен, от которого скрывали приготовления к свадьбе сестры, принялся бродить по квартире, приглядываться и разнюхивать; он обладал поистине дьявольской проницательностью, приводившей в отчаяние всю семью.

– Я все разузнала, – сказала мать, когда они с супругом и братом заперлись в комнате. – Вот как обстоят дела Вабров.

И она начала приводить подробные цифры. Старик Вабр продал свою практику в Версале за полмиллиона. Если парижский дом обошелся ему в триста тысяч франков, значит у него осталось двести тысяч, на которые за двенадцать лет набежали проценты. Кроме того, он ежегодно получал двадцать две тысячи квартирной платы с жильцов, а поскольку жил все это время у супругов Дюверье, почти не тратясь, сейчас у него должно было накопиться пятьсот или шестьсот тысяч франков плюс дом. Таким образом, с этой стороны все внушает самые что ни на есть радужные надежды.

– Что ж, у него и пороков никаких нет? – осведомился дядюшка Башляр. – Я-то полагал, что он играет на бирже.

Но госпожа Жоссеран запротестовала: старик так благопристоен, посвящает себя таким важным трудам! Уж он-то, по крайней мере, показал себя достаточно осмотрительным, чтобы сохранить и приумножить свое состояние! Говоря это, она с горькой усмешкой поглядывала на мужа, который пристыженно понурился.

Что же касается троих детей Вабра – Огюста, Клотильды и Теофиля, то после смерти матери им досталось по сто тысяч франков каждому. Теофиль, который пустился в разорительные аферы, скудно живет на оставшиеся крохи этого наследства. Клотильда, у которой лишь одна страсть в жизни – ее рояль, – вероятно, вложила свою часть наследства в ценные бумаги. И наконец, Огюст – этот долго держал под спудом свои сто тысяч франков, потом все-таки рискнул купить магазин на первом этаже отцовского дома и заняться торговлей шелком.

– И разумеется, старик не дает своим детям ни гроша, когда они вступают в брак, – заключил Башляр.

– Увы, так оно и есть. Да он и никогда не отличался щедростью. Выдавая замуж Клотильду, он обязался выплатить ей восемьдесят тысяч франков приданого, но Дюверье получил от него только десять тысяч и больше не требовал. Более того, он даже содержит тестя, восхваляя его скупость, – уж верно, надеется когда-нибудь наложить лапу на все его состояние. То же самое и с Теофилом: когда тот женился на Валери, старик посулил ему пятьдесят тысяч франков, но ограничился только процентами с этой суммы, а больше не дал ни гроша; мало того, еще и потребовал с супругов квартирную плату, которую они и выдают ему, боясь, что иначе он изменит завещание. Словом, Огюсту нечего и надеяться на пятьдесят тысяч, которые старик обещал подарить ему в день подписания свадебного контракта; хорошо еще, если он простит сыну долг за аренду помещения под магазин, которую тот не оплачивал все это время.

– Черт возьми, родственники вечно жмутся, когда речь заходит о приданом! – объявил Башляр. – Этого от них никогда не дождешься.

– Но вернемся к Огюсту, – продолжала госпожа Жоссеран. – Я уже рассказывала о его надеждах; единственная опасность грозит со стороны этих Дюверье; Берта умно поступит, если будет следить за ними, войдя в семью... Нынче положение таково: Огюст купил магазин за шестьдесят тысяч франков, взятые из материнского наследства, а остальные сорок тысяч пустил в оборот. Но этих денег ему недостаточно; кроме того, он пока холост, и ему нужна жена, поэтому он хочет вступить в брак... Берта у нас красotka – он уже представляет, как авантжно она будет выглядеть в роли хозяйки магазина, – а что касается приданого, то пятьдесят тысяч франков – вполне солидная сумма, которая и сподвигла его на такое решение.

Дядюшка Башляр даже бровью не повел. Потом наконец сказал с растроганным видом, что мечтал о лучшем женихе для Берты. И начал разбирать по косточкам будущего родича: человек он, конечно, положительный – правда, староват, слишком староват для Берты, ему уже тридцать три года, а кроме того, он вечно хворает, лицо у него перекошено от частых мигреней, да и вид какой-то унылый, совсем неподходящий для торговли.

– А у тебя есть кто-нибудь другой на примете? – спросила госпожа Жоссеран, с трудом сдерживая злость. – Лично я перевернула вверх дном весь Париж, пока не нашла этого.

Впрочем, она вовсе не строила иллюзий на счет будущего зятя. И тоже разобрала его по косточкам:

– Да, конечно, бравым его не назовешь, да и умом не блещет... Кроме того, я с подозрением отношусь к мужчинам, которые никогда не шалили в молодости и раздумывают несколько лет, прежде чем решиться на такой смелый шаг, как женитьба. Этот наш даже недоучился в коллеже из-за постоянных мигреней и целых пятнадцать лет служил мелким клерком где-то в торговле, прежде чем решился потратить свои сто тысяч франков, да и то папаша отбирал у него проценты с этих денег... Конечно, жених он не очень-то завидный.

До сих пор Жоссеран благоразумно помалкивал, но тут осмелился вставить слово:

– Дорогая моя, но тогда зачем так упорно стремиться к этому браку? Если молодой человек не может похвастаться здоровьем...

– Да нет, при чем тут здоровье! – прервал его Башляр. – Хворь еще никому не мешала жениться... А Берта, если что, не станет долго горевать и очень скоро выйдет замуж вторично.

– Однако раз он такой немощный, то сделает нашу девочку несчастной, – возразил отец.

– Несчастной?! – возопила госпожа Жоссеран. – Посмейте только сказать, что я навязываю родную дочь какому-то ничтожеству!.. Мы тут все свои, вот и перемываем косточки жениху – он, мол, и такой и сякой, и не молод, и некрасив, и не умен. Отчего бы не поговорить, что тут такого? Это вполне естественно... Но как бы то ни было, а человек он вполне достойный, лучшего нам не сыскать, и вот что я вам скажу: для Берты эта партия – большая удача. Я уж и не надеялась, что дело выгорит.

Она встала. Жоссеран, не смея возражать, отодвинулся подальше вместе со своим стулом.

– Я боюсь только одного, – продолжала она, напрямую обратившись к брату, – вдруг он откажется от женитьбы, если не получит приданого в день подписания брачного договора... И его можно понять: этому малому нужны деньги...

Но тут госпожа Жоссеран почувствовала за спиной чье-то горячее дыхание; она обернулась и увидела злобные глаза Сатюрнена, который подслушивал их, приоткрыв дверь и заглядывая в щелку. Поднялась паника: безумец стащил из кухни вертел – по его словам, «чтоб нанизывать гусей». Дядюшка Башляр, напуганный разговором, принявшим такой опасный оборот, воспользовался паникой и сбежал.

– Не провожайте меня! – крикнул он уже из передней. – Я спешу, у меня в полночь встреча с одним клиентом, который нарочно приехал из Бразилии!

Когда Сатюрнена смогли наконец уложить спать, разъяренная госпожа Жоссеран объявила, что держать в доме этого безумца больше нельзя. Если его не отправить в сумасшедший дом, он в конце концов натворит бед. А постоянно следить за ним невозможно – во что тогда превратится их жизнь?! Пока он будет здесь, его сестры никогда не выйдут замуж – такое отвращение и страх внушает он всем окружающим.

– Ну давай еще потерпим, – шепотом умолял супругу Жоссеран; его сердце обливалось кровью при мысли о разлуке с сыном.

– Нет, и точка! – постановила мать. – Я не желаю, чтобы он зарезал меня в один прекрасный день!.. Сегодня я уже почти уговорила своего братца, приперла его к стенке... Ну да ладно! Завтра мы с Бертой пойдем к нему, чтобы поговорить еще раз, и посмотрим, хватит ли у него наглости откреститься от своих обещаний... Кстати, Берта просто обязана нанести перед свадьбой визит своему крестному, так оно принято.

И наавтра все трое – мать, отец и дочь – нанесли официальный визит дяде в его магазине, который занимал подземный и цокольный этажи монументального дома на улице Энгьен.

Въезд загораживали фургоны. В крытом дворе грузчики паковали и заколачивали ящики; из широких окон магазина можно было разглядеть груды товаров: сушеные овощи, рулоны шелка, канцелярские принадлежности, различные масла – словом, все, что было заказано клиентами для доставки на дом, да еще множество вещей, что закупались впрок, в момент снижения цен. Там же стоял и Башляр, с большим красным носом и мутными после вчерашнего кутежа глазами; впрочем, несмотря на похмелье, соображал он быстро и безошибочно: если нужно было заняться бухгалтерией, ему никогда не изменяли врожденное деловое чутье и расчетливость опытного торгаша.

– Ах, это вы... – кисло буркнул он и провел гостей в свой маленький кабинет, откуда мог следить через окно за рабочими во дворе.



– Я привезла к тебе Берту, – объявила госпожа Жоссеран. – Она ведь знает, чем обязана тебе.

Девушка поцеловала дядю и, заметив, что мать подмигнула ей, вышла во дворик, якобы интересуясь товарами, а госпожа Жоссеран решительно приступила к главному вопросу:

– Послушай, Нарсис, мне нужно обсудить с тобой одно важное дело... Я рассчитывала на твое доброе сердце, на твои обещания и обязалась дать за Бертой пятьдесят тысяч франков приданого. Если я их не выплачу, свадьба расстроится и наша семья станет посмешищем – вот какова ситуация. Ты не можешь оставить нас в таком отчаянном положении.

Однако у Башляра забегали глаза, и он пробормотал, прикинувшись мертвецки пьяным:

– Как?! Что ты там наобещала?.. Обещать нельзя... некрасиво это – обещать...

И он стал плакаться на бедность. Вот, извольте ли видеть, он закупил целую партию конского волоса по сниженной цене, надеясь, что этот товар вздорожает, а тот возьми да и подешевей, и теперь ему приходится продавать его себе в убыток.

Он вскочил, открыл свои бухгалтерские книги, начал совать сестре счета. Это же чистое разорение!

– Ах, оставьте, – перебил его наконец Жоссеран. – Мне известны ваши дела; вы прекрасно зарабатываете и давно разбогатели бы, если бы не транжирили свои деньги... Лично я ничего у вас не прошу. Это была инициатива Элеоноры. Но позвольте сказать вам, Башляр, что вы

злоупотребляли нашим отношением к вам. Пятнадцать лет подряд каждую субботу я приходил сюда, чтобы приводить в порядок вашу бухгалтерию, и вы неизменно обещали мне...

Дядюшка прервал его на полуслове, ударив себя в грудь:

– Я? Обещал? Да это невозможно!.. Нет-нет, дайте мне время, и вы увидите... Я терпеть не могу, когда у меня просят, раздражаюсь, буквально заболеваю от этого! Но вы убедитесь, когда-нибудь вы убедитесь!..

Госпоже Жоссеран так и не удалось хоть что-нибудь вытянуть из него. Он горячо пожимал им руки, всхлипывал, говорил о своей душе, о любви к их семейству, умолял больше не мучить его, клялся всеми святыми, что они ни о чем не пожалеют: он помнит о своем долге перед родней, выполнит все свои обещания. Пройдет время, и Берта узнает, какое доброе сердце у ее дядюшки. Потом спросил совсем другим, деловым тоном:

– А что же с той страховкой, с теми пятьюдесятью тысячами, которые вы оформляли на девочку?

Госпожа Жоссеран пожала плечами:

– Да она уже четырнадцать лет как аннулирована. После четвертого взноса мы тебе двадцать раз напоминали, что не можем платить две тысячи франков в год.

– Ну это пустяки, – пробормотал дядюшка, хитро подмигивая. – Мы еще обсудим это в кругу семьи, а что касается выплаты приданого, тут можно и повременить... Приданое никогда не выплачивают сразу.

Жоссеран встал, возмущенный до глубины души:

– Как?! И это все, что вы можете нам сказать?!

Но дядя тут же нашел другую лазейку, сославшись на обычаи:

– Я хочу сказать: приданое никогда не выплачивают целиком, слышите вы? Дают задаток или ренту. Да возьмите хоть самого господина Вабра... И разве папаша Башляр целиком выплатил вам приданое Элеоноры? Нет, верно ведь? Свои денежки надо держать при себе, под спудом, черт возьми!

– Вы что же, советуете мне пойти на такую мерзость? – вскричал Жоссеран. – Солгать, состряпать фальшивый полис этой страховки?..

Но тут его остановила жена. Идея, подсказанная братом, заставила ее призадуматься. Она даже удивилась, как это не пришло в голову ей самой.

– Господи, ну что ты так разошелся, друг мой! Нарсис вовсе не заставляет тебя идти на жульничество.

– Разумеется! – проворчал дядюшка. – Просто не нужно показывать им документы. Главное – выиграть время, – продолжал он. – Посули жениху приданое, а мы его отдадим несколько позже.

Но тут совесть честного человека заставила Жоссерана дать им бешеный отпор. Нет, он отказывается, он не желает рисковать еще раз, пускаясь на такие аферы! Они всегда злоупотребляли его уступчивостью, вынуждая проделывать то, от чего он потом просто заболел, настолько ему были отвратительны их махинации. Так вот: раз он не может дать за Бертой приданое, нечего тогда и обещать!

Башляр подошел к окну и начал постукивать по стеклу, насвистывая военный марш, словно в знак презрения к подобной щепетильности. Госпожа Жоссеран выслушала мужа, смертельно побледнев от еле сдерживаемого гнева, и внезапно взорвалась:

– Ну что ж, сударь, значит, свадьба состоится на таких условиях, делать нечего... Ибо это последний шанс для моей дочери. И я скорее дам руку себе отсечь, чем позволю расстроить ее брак. Тем хуже для других! В конце концов, когда людей загоняют в угол, они способны на все!

– Похоже, вы готовы даже на убийство, мадам, лишь бы выдать замуж свою дочь?

Госпожа Жоссеран встала и величественно выпрямилась.

– Да! – яростно выкрикнула она.

И сопровождала это слово зловещей улыбкой. Дядюшка счел своим долгом утихомирить скандал. Ну к чему им ссориться?! Не лучше ли договориться полюбовно? В результате Жоссеран, еще не остывший от возмущения, растерянный и обессиленный, согласился-таки обсудить дело с Дюверье, от которого, по уверениям госпожи Жоссеран, все и зависело.

Дядюшка помог только в одном: чтобы заставить Дюверье в хорошем настроении, он посоветовал зятю обсудить с ним этот вопрос в таком месте, где тот ни в чем не сможет ему отказать.

– Но это должна быть короткая деловая встреча, – объявил Жоссеран, еще пытавшийся кое-как сохранить лицо. – И я вам твердо заявляю, что не дам никаких пустых обязательств.

– Ну разумеется, разумеется! – ответил Башляр. – Элеонора не просит у вас ничего, что могло бы обесчестить семью.

Тут в кабинет вернулась Берта. Она увидела во дворе коробки с цукатами и, ластаясь к дядюшке, попыталась выманить у него одну. Однако Башляр уже оправился от смущения и возразил: это невозможно, коробки идут строгим счетом, их нынче же вечером отправят в Санкт-Петербург. С этими словами он потихоньку подталкивал их к выходу, хотя его сестра, пораженная размахом торговли огромного магазина, битком набитого всевозможными товарами, медлила, терзаясь завистью от мысли, что такие сокровища принадлежат человеку без чести и совести, и горько размышляя о бесполезной порядочности своего супруга.

– Значит, так: завтра вечером, часам к девяти, в кафе «Мюлуз», – сказал Башляр, выйдя на улицу и пожав руку Жоссерану.

И как раз назавтра Октав и Трюбло, которые поужинали вдвоем перед тем, как отправиться к Клариссе, любовнице Дюверье, зашли в «Мюлуз», чтобы не являться к ней слишком рано, хотя она жила на улице Серизе, у черта на рогах. Часы только что пробили восемь. Еще с порога они услышали шум скандала в глубине помещения, в отдельном зале, и заглянули туда. Там сидел Башляр, уже порядком захмелевший; грузный, багроволицый старик сцепился с каким-то тщедушным господином, бледным и разъяренным.

– Вы снова плюнули в мою кружку! – орал он во всю глотку. – Я этого не потерплю!

– Оставьте меня в покое, слышите? Или я надаю вам оплеух! – пищал тщедушный человек, привстав на цыпочки.

Услышав это, Башляр заорал еще более наглым тоном, не уступая своему противнику:

– Валяйте, если вам угодно, сударь!.. Я к вашим услугам!

И когда его противник ударом кулака сплющил лихо сдвинутую на ухо дядюшкину шляпу, которую тот не снимал даже в кафе, старик повторил, совсем уж дерзко:

– Как вам угодно, сударь! Я к вашим услугам!

После чего, поправив шляпу, уселся поудобнее и с победным видом крикнул официанту:

– Альфред, подай мне другую кружку!

Октав и Трюбло с удивлением обнаружили за тем же столом Гелена; тот сидел, откинувшись на спинку диванчика, и невозмутимо покуривал с видом полнейшего безразличия. Когда приятели стали расспрашивать его о причинах ссоры, он ответил, любуясь дымком своей сигары:

– Понятия не имею. Вечно одни и те же истории... Просто дурацкий гонор – лезть на рожон и никогда не отступать.

Башляр пожал руки вновь прибывшим. Он обожал общество молодых. Узнав, что они идут к Клариссе, дядюшка пришел в восторг и объявил, что сам собирался навестить к ней, вот только сперва дождется зятя – Жоссерана, которому назначил здесь встречу. А пока он бесцеремонно распоряжался в этом тесном зальчике, громогласно заказывая самые роскошные блюда, чтобы попотчевать молодых людей, с размашистой щедростью богача, не жалеющего денег на удовольствия. Он уже разошелся вовсю – орал, сверкая вставными зубами и раздувая ноздри багрового носа, пылавшего под седым ежиком волос, гонял туда-сюда официантов, грубо «тыкал» им, не давал покоя соседям, так что хозяину пришлось дважды просить его

уйти, на что старик не обратил никакого внимания и продолжал буяннить. Накануне его выставили за это из кафе «Мадрид».

Но тут в дверях показалась уличная девица; она дважды устало прошлась по залу и исчезла. Октав заговорил о женщинах. Башляр сплюнул в сторону и при этом забрызгал слюной Трюбло, но даже не подумал извиниться. Он буквально разорвался на женщин и бахвалился тем, что покупает самых красивых в Париже. В торговле на такой разгул денег не жалеют – большие траты свидетельствуют о высоких прибылях. Но сейчас дядюшка забыл об этом: он хотел, чтобы его любили. Глядя на этого гуляку, швырявшегося деньгами, Октав дивился: уж не притворяется ли старик распутником только для того, чтоб избавиться от расходов на родственников?

– Зря вы бахвалитесь, дядюшка, – сказал Гелен. – Вокруг гораздо больше женщин, чем вы могли бы поиметь.

– Ах ты, жалкая пичужка! – вскипел Башляр. – Почему ж тогда у тебя их нет?

Гелен пожал плечами и презрительно ответил:

– Почему? А вот послушайте: не далее как вчера я ужинал со своим приятелем и его любовницей. И эта красotka сразу же начала наступать мне на ногу под столом. Вот, казалось бы, и удобный случай, не правда ли? Но когда она попросила меня отвезти ее домой, я сбежал и вовсе не жалею об этом... О, конечно, я вполне мог попользоваться ею и наверняка прекрасно провел бы время. Но потом... что потом, дядюшка? А вдруг она приклеилась бы ко мне так, что не отдерешь?!. Нет, я не настолько глуп, чтобы попасться на эту удочку!

Трюбло одобритительно кивал, слушая его: он и сам часто отказывался от связей с порядочными женщинами, боясь неизбежных осложнений. А Гелен, стряхнув с себя обычную апатию, продолжал приводить примеры. Однажды в поезде некая красавица-брюнетка, с которой он был незнаком, уснула у него на плече; но он вовремя одумался: что ему делать с ней дальше, по прибытии на вокзал? А вот и еще пример: после одной развеселой гулянки он обнаружил в своей постели жену соседа, – как вам такое?! Не правда ли, это уж слишком? Он вполне мог бы совершить глупость, но вовремя спохватился: а что, если она завтра потребует, чтобы он купил ей пару туфель?!

– Вот какие бывают случаи, дядюшка, – заключил он, – и никому так не везет на них, как мне! Но я умею держать себя в руках... Впрочем, тут я не одинок, многие мужчины избегают таких мимолетных связей, боясь последствий. Не будь их, жизнь стала бы, черт возьми, весьма приятной: встретились на улице со вчерашней пассией, «здрассте – до свиданья» и разошлись как ни в чем не бывало.

Однако Башляр, погружившийся в размышления, не слушал его. Пьяный кураж стих, его сменила слезливость. Внезапно он предложил:

– Ладно! Если будете хорошо себя вести, я вам кое-что покажу!

И, расплатившись, вывел их из кафе. Октав было напомнил ему о встрече с Жоссераном, но старик отмахнулся: ничего страшного, он потом вернется сюда за ним.

Оглядев напоследок зал, дядюшка увидел кусок сахара, забытый посетителем на соседнем столике, и стянул его.

– Идите за мной, – сказал он, выйдя из кафе. – Это совсем рядом.

Он шагал молча, с важным, сосредоточенным видом, и, дойдя до улицы Сен-Марк, остановился перед дверью какого-то дома. Молодые люди, все трое, собрались было войти следом за ним, как вдруг он заколебался:

– Нет, пошли обратно, мне расхотелось.

Но его спутники возмутились: как так, смеется он, что ли, над ними?!

– Ну ладно, только Елена я не впущу и вас тоже, Трюбло... Вы недостаточно учтивы, ничего не уважаете, поднимете меня на смех... А вот вы, господин Октав, человек солидный, следуйте за мной!

И он начал подниматься по лестнице, пропустив Октава вперед; тем временем двое других со смехом кричали ему с улицы: «Не забудьте передать от нас привет вашим дамам!» Добравшись до пятого этажа, дядюшка позвонил в дверь; ему отворила какая-то старуха, воскликнувшая:

– Как, это вы, господин Нарсис?! А Фифи вас не ждала нынче вечером!

Пухлое белое лицо и елейная улыбка делали ее похожей на монашку-послушницу. В тесной столовой, куда она провела гостей, рослая белокурая девушка, хорошенькая и скромная на вид, вышивала алтарный покров.

– Добрый вечер, дядюшка, – сказала она, поднявшись и подставив лоб жирным, трясущимся губам Башляра.

Тот отрекомендовал хозяйкам своего спутника как господина Октава Муре, «самого близкого друга», и обе женщины приветствовали его учтивейшим реверансом; затем все расселись вокруг стола, скупо освещенного керосиновой лампой. Здесь все дышало спокойным провинциальным бытом, размеренной жизнью двух женщин, никому не известных, живущих на гроши. Окно комнаты выходило во двор, так что в нее не проникал даже шум проезжавших фиакров.

Пока Башляр с отеческим участием расспрашивал девушку, чем она нынче занималась и не изменились ли ее чувства со вчерашнего дня, ее тетка – мадемуазель Меню – поведала Октаву историю их жизни с наивной откровенностью простой, порядочной женщины, которой нечего скрывать.

– Да будет вам известно, сударь, что я родом из Вильнёва, что близ Лилля. Меня хорошо знают у братьев Мардьен, которые держат магазин на улице Сен-Сюльпис; я тридцать лет проработала у них вышивальщицей. А потом одна родственница оставила мне в наследство домишко за городом, и я ухитрилась продать его за пожизненную ренту – тысячу франков в год; покупатели-то, видно, надеялись вскорости схоронить меня, да просчитались, Бог их наказал за жадность: мне уже семьдесят пять лет стукнуло, а я все еще жива-живехонька.

И она смеялась, показывая белые, как у молодой, зубы.

– Вот так я и жила, ничего не делая, – продолжала она, – потому как глаза вконец испортила на работе, и вдруг свалилась мне на голову племянница, Фанни... Ее отец, капитан Меню, помер, не оставив ей ни гроша, а из родни у бедняжки больше никого не было, вот оно как... Пришлось мне забрать девчонку из пансиона и обучить ее вышиванию, а на таком ремесле не разбогатеешь, приходится перебиваться с хлеба на воду, но куда деваться?! Чем ни занимайся, а женщина все одно живет в нужде... На свое счастье, она повстречала господина Нарсиса, так что теперь я могу умереть спокойно.

Сложив руки на животе, она сидела в праздной позе бывшей работницы, поклявшейся больше не брать в руки иголку, и с умилением глядела на Башляра и Фифи. Тем временем старик выпрашивал у девушки:

– Значит, вы вправду думали обо мне?.. И что же вы думали?

Фифи подняла на него прозрачные, ясные глаза, не переставая протягивать сквозь ткань иглу с золотой нитью.

– Думала о том, что вы нам добрый друг и что я вас очень люблю.

Фифи почти не глядела на Октава, словно ей была безразлична красота этого молодого человека. Он же, растроганный прелестью девушки, улыбался ей, дивясь и не зная, что и думать обо всем этом; тем временем старая тетка, так и не познавшая любви в своей пустой, беспорочной жизни, продолжала, понизив голос:

– Я бы, конечно, выдала ее замуж, почему бы и нет? Но за кого? Рабочий стал бы ее покланивать, а служащий наделал бы кучу ребятишек... Нет, лучше уж пускай знает с господином Нарсисом, все-таки он человек солидный. – И добавила, уже чуть громче: – Вы уж не обижайтесь, господин Нарсис, коли она что не так сделает... Я-то ей все время твержу: доставь

ему удовольствие, будь благодарной... Конечно, я рада, что у нее сыскался такой покровитель. Знали бы вы, до чего трудно пристроить девушку, когда вокруг никого из знакомых!..

И Октав поневоле разнежился в приятном покое этого скромного обиталища. В застывшем воздухе комнаты витал слабый фруктовый аромат. Иголка Фифи, протыкавшая тугой шелк, издавала легкий, еле слышный шорох, мерный, как тиканье часов с кукушкой, придавая любовным вожелениям дядюшки мирный мещанский оттенок. Впрочем, старая тетушка и была воплощением честности: она жила на свою тысячу франков ренты, не притрагиваясь к деньгам Фифи, которая тратила их как хотела. Единственное, что она принимала от племянницы, так это белое вино и каштаны, которые та иногда покупала ей за свой счет, когда вытряхивала из копилки монетки в четыре су, – их выдавал ей дядюшка, точно медаль, в награду за хорошее поведение.

– Ну прощай, мой цыпленочек, – объявил наконец Башляр, вставая, – нам пора, у нас дела... До завтра! Будь умницей по-прежнему.

Он поцеловал девушку в лоб и, растроганно оглядев ее на прощанье, сказал Октаву:

– Можете тоже поцеловать ее, эту малютку, я вам разрешаю.

Молодой человек коснулся губами свежей щечки Фифи. Девушка простодушно улыбалась; она выглядела скромницей, да и вся эта сцена казалась чисто семейной; никогда еще Октаву не доводилось видеть таких благоразумных девиц. Башляр направился было к двери, как вдруг воскликнул:

– Ох, чуть не забыл, у меня же припасен для тебя подарочек!

И, пошарив в кармане, выдал Фифи кусок сахара, позаимствованный в кафе. Девушка вспыхнула от радости, горячо поблагодарила и тут же принялась грызть сахар. Потом, набравшись смелости, попросила:

– А у вас, случайно, не найдется монеток в четыре су?

Башляр обыскал карманы, но ничего не нашел, зато Октав обнаружил у себя одну такую монетку, и девушка взяла ее у него «на память». Она не встала, чтобы проводить гостей, – несомненно, из соображений приличия, и мужчины снова услышали легкий скрип иглы, протыкавшей шелковый покров, пока мадемуазель Меню прощалась с ними со всей любезностью доброй старой хозяйки.

– Ну как? Стоило посмотреть, верно? – сказал Башляр, остановившись на лестнице. – И представьте – я трачу на это не больше пяти луидоров в месяц... Мне надоели бессовестные негодяйки, которые меня обирают! Я желаю чистой, искренней любви, ей-богу!

Однако, увидев, что Октав усмехнулся, дядюшка помрачнел:

– Я знаю, вы порядочный молодой человек и не станете злоупотреблять моей доверчивостью... Ни слова Гелену; поклянитесь мне честью, что вы ему не проговоритесь! Когда-нибудь я ему покажу эту малютку, только пускай сперва заслужит такую честь. Ах, мой милый, она просто ангел, истинный ангел! Что бы там ни говорили, а добродетель – великое благо, она очищает, освежает душу... Лично я всегда стремился к идеалу!

Его сиплый голос старого пьяницы дрожал, из-под набухших век катились слезы. Трюбло, ожидавший их внизу, начал паясничать, делая вид, будто записывает номер дома, а удивленный Гелен, пожимая плечами, допытывался у Октава, понравилась ли ему «малютка». В тех случаях, когда очередная «близкая знакомая» вызывала у дядюшки особенно нежные чувства, он не мог удержаться, чтобы не привести друзей к «этой особе», раздираемый между тщеславной гордостью от обладания таким сокровищем и страхом, что красотку у него отобьют; впрочем, на следующий день он все забывал и возвращался на улицу Сен-Марк с прежним таинственным видом.

– Да эту Фифи уже давным-давно все знают! – невозмутимо сказал Гелен.

Башляр пошел искать фиакр, и тут Октав воскликнул:

– А как же Жоссеран – он ведь ждет в кафе!

Башляр и остальные об этом и думать забыли. Жоссеран, крайне раздосадованный тем, что напрасно потерял вечер, нетерпеливо ожидал в дверях кафе; он никогда ничего не пил вне дома. Наконец они все же отбыли на улицу Серизе. Но им понадобилось два экипажа; в первый сели Башляр и Жоссеран, во второй – трое молодых людей.

Гелен, чей голос был едва слышен из-за скрипа колес древнего фиакра, заговорил о страховой компании, в которой служил.

– Страховки, биржа... все это чистое надувательство! – объявил Трюбло.

Потом разговор зашел о Дюверье. Ну не печально ли это: богатый человек, видный чиновник – и позволяет женщинам водить себя за нос!

Он неизменно выискивал во всяких подозрительных предместьях, куда и омнибусы-то не ходят, бедных дамочек, снимавших каморки, – скромниц, якобы вдов, или белошвеек, или несчастных, разорившихся лавочниц, – словом, самых что ни на есть ничтожных горемык, и посещал их раз в неделю, так же регулярно, как служащий ходит к себе в контору. Однако Трюбло встал на его защиту: во-первых, все это объяснялось темпераментом Дюверье; во-вторых, бедняге не повезло с женой. Говорили, будто она с первой же ночи прониклась к мужу отвращением из-за красных пятен на его лице. И потому легко прощала ему любовниц, чьи милости избавляли ее от супружеских обязанностей, даром что ей все же приходилось иногда терпеть эту пытку с покорностью верной жены, исполняющей свой долг.

– Так она, стало быть, порядочная женщина? – спросил удивленный Октав.

– Да, мой милый, именно что порядочная... И обладающая всеми качествами таковой: красивая, степенная, прекрасно воспитанная, образованная, изысканная, добродетельная и... совершенно невыносимая!

В дальнем конце улицы Монмартр их фиакр застрял в скопище других экипажей и остановился. Молодые люди опустили стекло и услышали разъяренные крики Башляра, вступившего в перебранку с кучерами. Наконец фиакр снова тронулся, и Гелен начал рассказывать о Клариссе. Эта Кларисса, по фамилии Боке, – дочь бедного уличного торговца, бывшего продавца игрушек, который нынче промышляет на праздниках вместе с женой и целым выводком чумазных детишек. Дюверье встретил Клариссу ненастным, дождливым вечером, когда ее выгнал на улицу очередной любовник. Эта долговязая чертовка так точно отвечала давно искомому идеалу Дюверье, что он тут же влюбился в нее без памяти, плакал, целуя ее глаза, и весь дрожал, предвкушая, как этот невинный «голубой цветочек», о котором поют в сентиментальных романсах, будет удовлетворять самые грубые его вожделения. Кларисса согласилась поселиться на улице Серизе, чтобы не компрометировать его, но постоянно обманывала своего содержателя, заставила меблировать ей квартиру, что обошлось ему в двадцать пять тысяч франков, и с тех пор бессовестно обирает его, а заодно изменяет с актером одного из монмартрских театров.

– А мне наплевать! – возразил Трюбло. – Зато у нее в доме всегда весело. По крайней мере, она не заставит вас распевать арии и не будет бренчать на фортепьянах, как та, законная... Ох уж это фортепьяно!.. Вы только представьте, что вы дома и вам хочется спать, но вы имели несчастье жениться на музыкальном ящике, который обращает в бегство всех окружающих! Надо быть круглым дураком, что при этом не завести себе уютное гнездышко на стороне, где можно принимать друзей в халате, без всяких церемоний.

– В воскресенье, – сказал Гелен, – Кларисса захотела пообедать со мной наедине, с глазу на глаз. Я отказался. После таких «обедов» человек способен наделать глупостей; я побоялся, что в один прекрасный день, когда эта девица бросит Дюверье, она расположится у меня в доме... Вы знаете, она страшно боится заразиться от него сыпью. Черт возьми, эта девка, видите ли, не переносит сыпи! Но ей не на что будет жить, если она бросит своего содержателя, как его отвергла жена; уверяю вас – если бы та могла отослать его к своей горничной, она скоро избавилась бы от этой супружеской повинности.

Наконец фиакр остановился. Они вышли и оказались перед безмолвным, погруженным во тьму домом на улице Серизе. Но им пришлось ждать не меньше десяти минут второй, оставший экипаж: после перебранки с кучерами на улице Монмартр Башляр потащил своего кучера выпить грогу. Поднимаясь по лестнице в высшей степени благопристойного дома, Жоссеран подробно расспрашивал его о любовнице Дюверье, и дядюшка бросил в ответ:

– Светская дама, очень милая особа... Да не бойтесь, она вас не съест.

Им отворила молоденькая румяная горничная. Она помогла мужчинам снять пальто, приветливо и фамильярно посмеиваясь. Трюблю на минутку прижал ее в углу передней, нашептывая на ухо какие-то словечки; слушая его, девушка прыскала со смеху, словно ее щекотали. А Башляр по-хозяйски распахнул дверь гостиной и представил хозяйке Жоссерана. В первый момент тот застыл от удивления: Кларисса показалась ему уродиной; он не постигал, как это советник мог предпочесть ее своей жене, одной из самых красивых женщин. Девушка походила на уличного мальчишку – смуглое, тощее создание с кудлатой черной шевелюрой, точь-в-точь гривка у пуделя. Однако при ближайшем знакомстве Кларисса оказалась просто очаровательной: она сочетала бойкие повадки парижской уличной девчонки с поверхностным, но насмешливым умом и манерами, перенятыми у мужчин, с которыми имела дело. Однако при случае, когда хотела, могла прикинуться и знатной дамой.

– Счастлива видеть вас, господа... Все друзья Альфонса – мои друзья... Чувствуйте себя как дома.

Дюверье, заранее извещенный запиской Башляра, также оказал Жоссерану самый радушный прием.

Октава крайне удивил его вид – Дюверье выглядел помолодевшим. Сейчас перед ним стоял не степенный, чопорный господин, которому явно было не по себе в гостиной на улице Шуазель, словно там он находился не у себя дома. Здесь красные пятна у него на лбу казались блеклыми, а тусклые глаза искрились детским лукавством, когда Кларисса, окруженная мужчинами, рассказывала им, как он иногда сбегает к ней в перерывах между заседаниями: берет первый попавшийся фиакр и мчится сюда лишь для того, чтобы поцеловать ее и тут же уехать обратно.

Дюверье и сам начал жаловаться на занятость: четыре заседания в неделю, с одиннадцати до пяти, и вечно одни и те же мелкие, запутанные дела, которые приходится разбирать часами, – в конце концов, от этого просто душа черствеет!

– Кларисса права! – со смехом добавил он. – Человеку нужно хоть чем-нибудь скрасить это убогое существование! Побывав здесь, я чувствую себя возрожденным.

Тем не менее сейчас на его сюртуке не было красной орденой розетки – он снимал ее всякий раз, как отправлялся к любовнице: щепетильность упрямо диктовала ему этот деликатный раздел между официальной и тайной жизнью. Кларисса сознавала это и таила на него жестокую обиду, которую, однако, не высказывала вслух.

Октав сразу пожал руку молодой женщине чисто по-товарищески и теперь внимательно слушал, оглядывая все вокруг. Обстановка гостиной – ковер с крупными цветами, мебель и пунцовые атласные портьеры – очень напоминала салон на улице Шуазель; это сходство еще больше усиливали собравшиеся здесь многочисленные друзья советника, которых Октав видел и там в день концерта и которые теперь сидели здесь точно такими же группами. Зато в этой гостиной все бесцеремонно курили и говорили в полный голос, а ярко горевшие свечи делали обстановку еще более оживленной. Двое гостей развалились бок о бок на широком диване; еще один, оседлав стул, грел спину у камина.

Здесь царило дружеское непринужденное веселье, однако свобода обращения не выходила за рамки пристойности. Кларисса не принимала у себя женщин – из приличия, как она говорила. А когда завсегдатаи ее дома жаловались, что им не хватает дамского общества, она со смехом возражала:

– Ну вот еще! А меня вам разве мало?

Она создала для Альфонса вполне достойную и, по сути, весьма добропорядочную обстановку: ей страстно хотелось выглядеть «приличной женщиной», невзирая на постоянные жизненные превратности. Принимая гостей, она требовала, чтобы к ней обращались на «вы». Позже, когда «официальные» посетители откланивались, двери отворяли для близких друзей Альфонса и ее собственных – актеров с бритыми лицами, художников с дремучими бородами. Таков был старинный обычай, возможность слегка «распоясаться» после ухода официального содержателя, который платил. Из всех мужчин в ее гостиной не подчинялись этому правилу только двое – Гелен, боявшийся последствий сомнительных связей, и Трюбло, чьи вожеления были направлены в иную сторону.

А сейчас хорошенькая горничная с радушной улыбкой разносила пунш. Октав взял бокал и, придвинувшись к другу, шепнул:

– А горничная-то пригляднее хозяйки.

– Черт возьми, да так всегда бывает! – ответил Трюбло, презрительно пожав плечами.

Кларисса на минутку подошла к ним поболтать. Она старалась занять всех гостей – переходила от одного к другому, тут бросала словцо, там награждала улыбкой или ласковым прикосновением. Поскольку каждый новоприбывший закуривал сигару, гостиная вскоре наполнилась дымом.

– Ах уж эти противные мужчины! – весело воскликнула хозяйка и растворила окно.

Башляр тут же потащил за собой Жоссерана, чтобы тот «продышался», как он выразился, затем ловким маневром подвел туда же Дюверье и в два счета уладил дело с приданым. Этим двум семействам предстояло породниться, дядюшка объявил, что считает это великой честью. Затем он осведомился о дне подписания свадебного контракта и таким образом получил возможность обсудить деловую сторону этого брака.

– Мы с господином Жоссераном собирались нанести вам визит завтра, чтобы уладить все формальности, поскольку нам известно, что господин Огюст ничего не предпринимает, не посоветовавшись с вами... Речь идет о выплате наследства, но раз уж мы все здесь, то почему бы, черт возьми, не сделать это прямо сейчас? – сказал дядюшка.

Жоссеран с тоскливой боязнью смотрел в окно на мрачный провал улицы Серизе, с ее безлюдными тротуарами и темными, словно мертвыми, фасадами. Он жестоко корил себя за то, что согласился приехать сюда. Сейчас «они» наверняка воспользуются его слабостью, чтобы замешать в какую-нибудь грязную историю, где он, конечно, будет жертвой. В порыве возмущения он прервал своего шурина:

– Давайте обсудим это в другое время. Здесь неподходящее место!

– Да отчего же? – ласково возразил Дюверье. – Тут намного лучше, чем где бы то ни было... Так что вы говорили, господин Башляр?

– Мы даем за Бертой пятьдесят тысяч франков, – продолжал дядюшка. – Но эти пятьдесят тысяч вложены в страховку с двадцатилетним сроком – господин Жоссеран подписал обязательство о выплате, когда Берте было четыре года. Таким образом, Берта получит эти деньги только через три года...

– Но позвольте!.. – вскричал перепуганный кассир.

– Нет, это вы позвольте мне договорить – господин Дюверье меня прекрасно понимает... Мы не хотим, чтобы молодые супруги ждали три года получения денег, которые могут им понадобиться сразу же, и поэтому обязуемся выплачивать наследство частями, по десять тысяч франков каждые полгода; таким образом, по истечении срока страховки они вернут себе весь капитал сполна.

Настала долгая пауза. Жоссеран, похолодевший, лишившийся дара речи, снова глядел на черную улицу. Советник призадумался, – вероятно, он чуял какой-то подвох, но при этом радовался возможности провести этих Вабров, которых так презирал в лице своей супруги.

– Что ж, мне кажется, это вполне разумное решение, – сказал он наконец. – Мы будем вам очень благодарны, ведь приданое так редко выплачивают в полном объеме.

– Да просто никогда! – бодро вскричал дядюшка. – Никогда и никто этого не делает!

И мужчины скрепили свой договор рукопожатием, назначив на ближайший четверг встречу в конторе нотариуса. Когда Жоссеран отошел от окна в центр ярко освещенной гостиной, он был так бледен, что его спросили, не дурно ли ему. Он и в самом деле чувствовал себя прескверно и тут же ушел, даже не попрощавшись с шурином, который проследовал в столовую, где всегдашний чай заменили сегодня шампанским.

Тем временем Гелен, разлегшийся на кушетке возле окна, бормотал себе под нос:

– Ай да дядюшка, ну и прохвост!

Он нечаянно подслушал разговор о страховке и теперь, хихикая, пересказывал его Октаву и Трюбло. Страховка была оформлена в его компании на таких условиях, что с нее нельзя было получить ни гроша, – вот так обмишулили Вабров. Оба слушателя хохотали от души, держась за бока. А Гелен добавил, сооротив свирепую гримасу:

– Мне позарез нужны сто франков... И если дядюшка не раскошелится на эти сто франков, я его разоблачу перед всеми!

Голоса звучали все громче, шампанское заставило гостей позабыть о правилах приличия, установленных Клариссой. Вечерние приемы в ее гостиной всегда заканчивались слишком бурно – иногда забывалась даже сама хозяйка дома. Трюбло указал на нее Октаву: стоя за распахнутой дверью, она висла на шее молодчика, похожего на крестьянина; это был камелотес, приехавший с юга: в родном городке захотели «обучить его на скульптора».

Но тут Дюверье толкнул дверь, и Кларисса, проворно опустив руки, представила ему молодого человека: господин Пайян, талантливый скульптор, истинно творческая личность. И растроганный Дюверье тут же обещал помочь ему с заказами и обеспечить работой.

– Работой... ха-ха, работой, вот простофиля! – вполголоса повторил Гелен. – Да ему и тут сыщется столько работы, что всю не переделаешь.

К двум часам ночи, когда трое молодых людей покинули улицу Серизе вместе с дядюшкой, этот последний был уже мертвецки пьян. Они решили было запихнуть его в фиакр, но в уснувшем квартале царил торжественная тишина – ни скрипа колес, ни звука шагов запоздалого пешехода.

Тогда они решили вести его под руки. В небе сияла луна, светлая луна, выбелившая тротуары. На пустынных улицах людские голоса звучали особенно гулко.

– Черт побери, дядюшка, да держитесь же, не падайте, вы нам все руки оттянули!

Старик, совершенно размякший, плаксиво бормотал:

– Уходи, Гелен, уходи!.. Я не хочу, чтобы ты видел дядю в таком состоянии... Нет, мой мальчик, это неприлично, уходи же! – И, услышав, как племянник назвал его старым плутом, возразил: – Плут... это ничего не значит. Нужно заставить себя уважать... Вот я... я уважаю женщин. Одних только чистых женщин, а когда у них нет чувств, это меня отталкивает... Уходи же, Гелен, не заставляй краснеть своего дядю. Эти господа доведут меня до дому.

– Хорошо, – объявил Гелен. – Тогда дайте мне сто франков. Они мне нужны, чтобы заплатить за жилье, ей-богу, я не вру. Хозяева собрались выгнать меня на улицу.

Эта неожиданная просьба усугубила пьяный угар Башляра, так что им пришлось прислонить его к ставне какого-то магазина. Он бормотал:

– Как?.. Что?.. Сто франков... Эй, не шарьте у меня в карманах, я ношу с собой только мелочь... Да ты же растрянжиришь их в значных местах! Нет, я не стану поощрять твои пороки. Я свой долг знаю – твоя мать, умирая, поручила мне тебя... Слушайте, я позову на помощь, если вы вздумаете меня обыскивать!

И он продолжал разглагольствовать, осуждая порочные нравы молодежи и твердя о пользе добродетели.

– Да что вы там болтаете о добродетели?! – вскипел наконец Гелен. – Я, по крайней мере, еще не дошел до того, чтобы обкрадывать родственников... Слышите вы? Мне стоит только заговорить, как вы сами быстренько выложите мне денежки, мои сто франков!

Однако дядя тут же притворился глухим. Он что-то невнятно бормотал, то и дело падал. В узком проулке позади церкви Сен-Жерве, где они теперь находились, горел один-единственный фонарь; его слабый, как у ночника, белесый свет едва позволял разглядеть сквозь грязные стекла крупно выписанный номер дома. Из ближайшего окна доносились невнятные, дрожащие звуки; сквозь щели в закрытых ставнях просачивались наружу тонкие полоски света.

– Ну довольно с меня! – внезапно объявил разозленный Гелен. – Простите, дядюшка, я забыл свой зонтик там, наверху.

И он вошел в дом. Башляр возмущился: теперь он гневно требовал, чтобы к женщинам относились более уважительно, – при нынешних нравах Франции грозит гибель! На площади Ратуши Октаву и Трюбло удалось наконец остановить фиакр, в который они швырнули дядю бесцеремонно, как куль с углем.

– Везите его на улицу Энглен, – сказали они кучеру. – Вы свое получите, обшарьте его карманы.

В четверг на улице Граммон, в присутствии мэтра Ренодена, состоялось подписание брачного контракта. Перед этим в доме Жоссеранов разыгрался скандал: отец невесты в порыве бессильного негодования снова обвинил ее мать в бессовестном обмане, к которому его принудили, и супруги опять начали бросать друг другу в лицо упреки, оскорбляя чужую родню. Где он достанет раз в полгода десять тысяч франков? – кричал Жоссеран. Это обязательство сводило его с ума. Башляр, который присутствовал при ссоре, истово бил себя в грудь, сыпал все новыми и новыми обещаниями, хотя до сих пор не дал за невестой ни гроша, и клялся, что никогда не оставит в нужде любимую малютку. Но измученный отец Берты, пожав плечами, спросил:

– Вы что, считаете меня круглым дураком?



Однако содержание брачного контракта, составленного по указаниям Дюверье, слегка успокоило Жоссерана. В документе не говорилось о страховке; кроме того, первый взнос, в размере десяти тысяч франков, следовало сделать лишь через полгода после свадьбы. Иными словами, у него будет достаточно времени для передышки. Огюст, слушавший нотариуса с пристальным вниманием, вдруг начал проявлять беспокойство; он пристально смотрел на улыбающуюся Бертю, смотрел на родителей, смотрел на Дюверье и наконец осмелился спросить о страховке как о гарантии выплаты – он считал естественным хотя бы упоминание о тако-

вой. Однако все присутствующие изобразили удивление – к чему это, все само собой разумеется! – и быстренько подписали документ; мэтр Реноден, молодой и очень любезный господин, помалкивал и учтиво подавал перо каждой из дам. Выйдя на улицу, госпожа Дюверье, однако, позволила себе выразить удивление тем, что никто так и не заикнулся ни о страховке, ни о том, что пятьдесят тысяч франков приданого должен был выплатить дядюшка Башляр. Однако госпожа Жоссеран с наивным видом возразила, что не стоит обязывать дядю выплачивать столь незначительную сумму: позже он отпишет Берте все свое состояние.

Вечером того же дня за Сатюрненом приехал фиакр. Госпожа Жоссеран объявила, что его присутствие на брачной церемонии слишком опасно: нельзя выпускать в толпу приглашенных безумца, который грозился всех зарезать; и Жоссеран, скрепя сердце, был вынужден отправить беднягу в психиатрическую лечебницу доктора Шассаня, в Мулино. Фиакр въехал во двор, когда уже смеркалось; Сатюрнен спустился вниз, держась за руку Берты: бедный дурачок вообразил, что они отправляются на загородную прогулку. Однако, сев в экипаж, он разбушевался, разбил стекло и, высунув руки наружу, стал махать окровавленными кулаками. Жоссеран, потрясенный этой сценой в полутемном дворе, в слезах поднялся в квартиру; в его ушах все еще звучали завывания несчастного, перемежаемые шелканьем кнута и цокотом копыт.

За ужином при виде незанятого места Сатюрнена он опять не смог сдержать слезы, и его жена, не понимая причины этого горя, гневно вскричала:

– Ну довольно хныкать! Надеюсь, вы не собираетесь выдавать свою дочь замуж с этой похоронной физиономией?! Знайте: дядюшка поклялся мне самым святым, что есть на свете, – могилой моего отца! – что он выплатит в срок первые десять тысяч франков, и я за него ручаюсь! Он торжественно поклялся мне в этом, выходя от нотариуса!

Жоссеран даже не стал отвечать. Он провел всю ночь за письменным столом, надписывая бандероли. К утру, в зябком рассветном полумраке, он закончил вторую тысячу и заработал шесть франков. При этом он то и дело машинально поднимал голову, вслушиваясь: не проснулся ли в соседней комнате Сатюрнен. Затем мысль о Берте побуждала его снова лихорадочно продолжать работу. Бедная девочка, ей так хотелось венчаться в белом муаровом платье! Что ж, если добавить эти шесть франков, то букет невесты получится пышнее.

VIII

Бракосочетание в мэрии состоялось в четверг. А в субботу утром, в одиннадцатом часу, в гостиной Жоссеранов уже сидели дамы – венчание в церкви Святого Роха было назначено на одиннадцать. Здесь были мадам Жюзер – как всегда, в черном шелковом платье, мадам Дамбревиль, затянутая в платье цвета палой листвы, и Клотильда Дюверье, в очень простом бледно-голубом наряде. Они беседовали вполголоса, сидя среди беспорядочно стоявших кресел, а в соседней комнате Берту наряжала мать; ей помогали служанка и две подружки невесты – Ортанс и дочь Кампардонов.

– Ах, не в этом дело, – прошептала госпожа Дюверье, – семья весьма почтенная... Но, признаться, я слегка побаиваюсь за моего брата Огюста, если учесть властный нрав матери невесты... Нужно все предусмотреть, не так ли?

– Вы правы, – отвечала мадам Жюзер, – женятся не только на дочери, часто вместе с ней женятся и на матери, и бывает крайне неприятно, когда эта последняя вмешивается в супружескую жизнь молодой пары.

В этот момент дверь распахнулась и из соседней комнаты выбежала Анжель с криком:

– Пряжка?.. В глубине левого ящика?.. Сейчас, сейчас!

Она пробежала по гостиной, схватила требуемое и снова нырнула в соседнюю комнату, оставив за собой, точно след, всплеск белой юбки, опоясанной широкой голубой лентой.

– По-моему, вы ошибаетесь, – продолжала мадам Дамбревиль, – мать счастлива, что сбыла с рук хотя бы одну дочь... Ее единственная страсть – эти приемы по вторникам. Кроме того, у нее все-таки остается еще одна жертва.

Но тут вошла Валери в огненно-красном, прямо-таки вызывающем наряде. Боясь опоздать, она слишком быстро взбежала по лестнице.

– Теофиль никак не соберется! – сказала она золовке. – Представьте: нынче утром я рассчитала Франсуазу, и теперь он нигде не может найти свой галстук... Я его оставила среди полного разгрома!

– Вопрос здоровья также очень важен, – продолжала мадам Дамбревиль.

– Несомненно! – подтвердила госпожа Дюверье. – Мы тайком проконсультировались с доктором Жюйера... Похоже, девушка отличается прекрасным сложением. Что же до матери, то она может похвастаться поистине богатырским здоровьем, и это нас слегка успокоило, – поверьте, нет ничего хуже болящих родственников, которые сваливаются вам на голову... Здоровые куда лучше!

– Особенно в том случае, – вкрадчиво сказала мадам Жюзер, – когда они ничего не должны оставлять детям.

Валери уселась, с трудом переводя дух, и, не будучи в курсе разговора, спросила:

– О ком это вы говорите?

Внезапно дверь соседней комнаты опять с грохотом растворилась, и оттуда донеслись крики:

– А я тебе говорю, что картонка осталась на столе!

– Неправда, я только что видела ее здесь!

– Ох, до чего же ты упряма!..

– Ну так пойди и посмотри сама!

Ортанс с осунувшимся, желтым лицом прошла через гостиную; она тоже была одета в белое платье с широким голубым поясом и выглядела в этом бледном, полупрозрачном муслине много старше своего возраста. Обнаружив картонку, она вернулась обратно в ярости; эту картонку с букетом новобрачной уже целых пять минут безуспешно разыскивали в разоренной квартире.

– Ну что тут поделаешь! – заключила мадам Дамбревиль. – Свадьбы никогда не проходят так, как хотелось бы... Самое разумное – обо всем договориться после, и как можно удачнее.

Наконец Анжель и Ортанс распахнули настежь двери, чтобы невеста не зацепилась вуалью за створки, и показалась Берта в белоснежном шелковом платье и белом цветочном уборе – в белом венке, с белым букетом, с белой гирляндой, обвивавшей подол и продолжавшейся на шлейфе, в виде мелких белых бутонов. Она прелестно выглядела в этом белоснежном обрамлении, со своим свежим личиком, золотистыми волосами, лукавыми глазами и невинными губками девушки, уже кое-что изведавшей в жизни.

– Ах, какая прелесть! – хором воскликнули дамы.

И все начали восторженно обнимать невесту. Жоссераны, оказавшись в отчаянном положении, не зная, где взять две тысячи франков на свадьбу, пятьсот – на свадебный наряд и тысячу пятьсот (свою долю расходов) на свадебный ужин и бал, были вынуждены послать Берту в лечебницу доктора Шассаня, к Сатюрнену, которому недавно скончавшаяся тетка оставила три тысячи франков, и Берта, заманив брата в фиакр, а там слегка успокоив, обнимала и целовала несчастного безумца до тех пор, пока на минутку не зашла вместе с ним к нотариусу, который зная не знал о состоянии бедняги и ожидал только его подписи, чтобы выдать деньги.

Шелковое платье и пышный цветочный убор невесты поразили всех присутствующих дам, которые оглядывали ее со всех сторон, восклицая:

– Великолепно!.. Ах, как изысканно!..

Сияющая госпожа Жоссеран щеголяла в тошнотворно-ярком лиловом наряде, который делал ее фигуру еще более громоздкой, уподобляя башне. Она распекала супруга, громко требовала, чтобы Ортанс подала ей шаль, запрещала Берте садиться, крича:

– Осторожней, ты сомнешь цветы!

– Да не волнуйтесь вы так, – спокойно сказала Клотильда. – У нас еще полно времени... Огюст придет сюда за нами.

Все ждали в гостиной, как вдруг туда ворвался Теофиль – без шляпы, одетый кое-как, в белом галстуке, сбившемся набок. Его лицо с жидкой бороденкой и гнилыми зубами было смертельно бледным, хилые руки и ноги дрожали от ярости.

– Что с тобой? – удивленно спросила его сестра.

– Что со мной... что со мной...

Но тут его одолел приступ кашля, и он захлебнулся, судорожно сплевывая в платок слюну, в бессильной ярости от невозможности излить свой гнев. Валери испуганно смотрела на мужа, инстинктивно догадываясь о причине его негодования. Наконец он погрозил ей кулаком, даже не заметив присутствия невесты и окружавших ее дам.

– Вот... я повсюду искал свой галстук... и нашел возле шкафа письмо! – выкрикнул он, злобно комкая в руке листок бумаги.

Его жена побледнела: она сразу поняла причину его ярости. Стремясь избежать публичного скандала, она бросила:

– Ну вот что – раз уж он так обезумел, мне лучше уйти, – и направилась в комнату, откуда только что вышла Берта.

– Оставь меня в покое! – крикнул Теофиль госпоже Дюверье, пытавшейся его утихомирить. – Я ее убить готов! На сей раз у меня есть доказательство, так что сомневаться не приходится, о нет!.. Теперь ей не выкрутиться, уж *этого-то* я знаю!..

Сестра властно схватила его за плечо и начала трясти, чтобы привести в чувство, повторяя:

– Замолчи! Ты что, не видишь, где находишься? Сейчас не время, слышишь?

Но Теофиль упрямо выкрикивал:

– Нет, как раз время!.. И мне плевать на других! Тем хуже, что так случилось именно сегодня! Пусть это послужит уроком всем остальным!

Но все-таки он снизил тон и бессильно рухнул на стул, едва не плача. В салоне наступила мертвая тишина. Мадам Дамбревиль и мадам Жюзер отошли подальше, делая вид, будто ничего не поняли. Госпожа Жоссеран, расстроенная этим скандалом, грозившим омрачить свадьбу, скрылась в соседней комнате, чтобы утешить Валери.

Что касается Берты, то она смотрела в зеркало, любясь своим венком, и не сразу услышала шум скандала. Поэтому она начала вполголоса расспрашивать Ортанс. Девушки пошептались; старшая, сделав вид, будто расправляет фату сестры, указала ей взглядом на Теофиля и шепотом объяснила случившееся.

– Ах вот как! – равнодушно ответила младшая, с невинным видом и легкой усмешкой разглядывая беднягу-мужа; на ее личике под пышным белым венком не отразилось ни малейшего сочувствия.

Тем временем Клотильда тихонько расспрашивала брата. Госпожа Жоссеран вышла из соседней комнаты, пошептала с ней и вернулась обратно. Это очень напоминало обмен верительными грамотами. Теофиль обвинял Октава, этого «приказчика», которому грозился прилюдно надавать пощечин в церкви, если тот посмеет туда явиться. Дело в том, что он видел его накануне у входа в церковь Святого Роха рядом со своей женой; сперва он усомнился, но теперь был твердо уверен, что узнал ее по фигуре, по походке. Обычно Валери отговаривалась тем, что обедала у друзей или ходила вместе с Камиллой в церковь Святого Роха, как прочие прихожане, чтобы исповедаться, оставляя там дочку под присмотром женщины, сдававшей стулья, вслед за чем ускользала вместе с «господином» через запасной выход в какой-нибудь мерзкий закуток, где никто и не подумал бы ее искать.

Услышав имя Октава, Валери усмехнулась:

– С этим субъектом? Да никогда в жизни! – И поклялась в этом госпоже Жоссеран, добавив: – Как, впрочем, и ни с кем другим, но с этим-то уж наверняка нет!

Последнее было правдой, и теперь она намеревалась пойти в наступление и сбить с толку мужа, доказав ему, что письмо написано не рукой Октава и что этот последний никак не мог быть пресловутым «господином» в церкви Святого Роха. Госпожа Жоссеран слушала ее, пронизывая опытным взглядом и мысленно прикидывая, где бы найти подходящего человека, способного помочь им обмануть Теофиля. Вслед за чем дала Валери вполне разумный совет:

– Предоставьте это дело мне, а сами не вмешивайтесь... Раз уж он вообразил, что это господин Муре, ну и ладно – пусть будет господин Муре. Что плохого в том, что вас увидели на паперти церкви Святого Роха рядом с господином Муре?! Единственный компрометирующий вас документ – пресловутое письмо. Так вот: когда молодой человек предъявит ему пару строчек, написанных его почерком, тут-то вы и восторжествуете... Главное, говорите то же, что и я. Знайте: я не позволю вашему супругу испортить нам такой торжественный день.

Им пришлось еще дожидаться Жоссерана, который разыскивал под столом и стульями свою запонку (выметенную накануне вместе с мусором). Наконец он явился, лепеча извинения, растерянный, но все же счастливый, и спустился по лестнице первым, крепко держа под руку Берту.

Когда госпожа Жоссеран вывела из комнаты перепуганную Валери, Теофиль объявил сестре сдавленным голосом:

– Я это делаю единственно ради тебя: обещаю не позорить ее здесь, перед всеми, раз уж ты считаешь, что это неприлично из-за свадьбы... Но в церкви... там я ни за что не ручаюсь. Если этот приказчик вздумает глумиться надо мной в церкви, в присутствии моей родни, я убью их обоих, и ее и его!

Огюст, весьма элегантный в своем черном фраке, прижимив левый глаз: его мучила мигрень, которую он со страхом ожидал вот уже три дня; сейчас он поднимался по ступеням, чтобы встретить невесту, которую ее отец и шурин торжественно вели к дверям. Началась суматоха, так как они опаздывали к назначенному часу. Двум дамам – Клотильде Дюве-

рье и мадам Дамбревиль – пришлось помогать матери невесты накинуть шаль; она упорно щеголяла по торжественным случаям в этой огромной желтой узорчатой накидке, хотя мода на такие давным-давно прошла, и это широченное, кричащих тонов облачение неизменно вызывало фурор на улице.

Огюст и госпожа Жоссеран следовали за невестой, все остальные следовали за ними, кто с кем, нарушая шепотками торжественное безмолвие вестибюля. Теофиль прибил к Дюверье, смущая его невозмутимое достоинство жалобами и причитаниями, которые нашептывал ему на ухо, и требуя совета; тем временем Валери, уже вполне спокойная, шла, скромно потупившись, слушала нежные утешения мадам Жюзер и делала вид, будто не замечает яростных взглядов супруга.

– А где твой молитвенник? – в ужасе вскричала госпожа Жоссеран, когда все уже сели в экипажи.

Анжель пришлось бежать вверх за молитвенником в белом бархатном переплете. Наконец тронулись в путь. Их вышел проводить весь дом – даже служанки и консьерж с супругой. Мари Пишон спустилась вместе с уже одетой Лилит, словно собралась гулять с ней, и вид невесты, такой красивой и нарядной, растрогал ее до слез. Консьерж отметил про себя, что одни только жильцы с третьего этажа не высунули носа из квартиры: странные субъекты, все у них не как у людей!

А в церкви Святого Роха уже были широко распахнуты двери, и от портала до мостовой стелилась красная дорожка. Накрапывал дождь, это майское утро выдалось очень холодным.

– Тринадцать ступенек! – шепнула мадам Жюзер на ухо Валери, когда они подошли к дверям. – Дурная примета!

Как только свадебный кортеж направился по центральному проходу к алтарю, где ярко, как звезды, сияли свечи, над головами присутствующих торжественно загремел орган. Это была богатая, приветливая церковь с большими, светлыми окнами в бледно-желтых и нежно-голубых наличниках, со стенами и колоннами красного мрамора, с фигурами четырех евангелистов, которые поддерживали деревянную раззолоченную кафедру; в боковых капеллах поблескивала золотая и серебряная церковная утварь. Своды украшала яркая, веселая, как в Опере, роспись. С потолка на длинных цепях свисали хрустальные люстры. Когда дамы проходили мимо калорифера, подолы юбок вздымались от его теплого дуновения.

– Вы уверены, что не забыли обручальное кольцо? – спросила госпожа Жоссеран у Огюста, который усаживался вместе с Бертой в кресла перед алтарем.

Тот всполошился, решив было, что оставил кольцо дома, потом нащупал его в жилетном кармане. Впрочем, его будущая теща отошла, не дождавшись ответа. Едва войдя в церковь, она непрестанно оглядывала, обшаривала взглядом присутствующих: шаферов – Трюбло и Гелена, свидетелей невесты – дядюшку Башляра и Кампардона, свидетелей жениха – Дюверье и доктора Жюйера и целую толпу знакомых, дружба с которыми составляла предмет ее гордости. Наконец она заприметила Октава, который энергично прокладывал дорогу госпоже Эдуэн, и, отведя его за колонну, торопливым шепотом переговорила с ним. Молодой человек изумленно смотрел на нее, ничего не понимая. Тем не менее он любезно кивнул в знак согласия.

– Все улажено, – шепнула госпожа Жоссеран на ухо Валери, после чего прошла вперед и снова заняла одно из кресел для родственников, позади Берты и Огюста.

Здесь сидели Жоссеран, супруги Вабр и Дюверье. Теперь орган выдыхал стремительные и радостные пассажи, перемежая их басовыми вздохами. Внизу все места были заняты, на хорах также толпились зрители, мужчины стояли вдоль стен, в боковых нефках за колоннами. Аббат Модюи доставил себе удовольствие лично благословить брачный союз одной из своих духовных дочерей.

Появившись в стихаре перед собравшимися, он приветствовал их дружеской улыбкой; все эти лица были ему знакомы. Певчие уже затянули «*Veni Creator*»⁸, орган продолжил свою торжественную песнь, и как раз в этот момент Теофиль заметил Октава, стоявшего слева от певчих, перед капеллой Святого Иосифа.

Клотильда попыталась задержать брата, но тот пробормотал:

– Нет, не могу, я этого не вынесу.

И чуть ли не силой потащил за собой Дюверье как представителя их семейства.

А «*Veni Creator*» по-прежнему победно разносился по всей церкви. Несколько голов повернулись в их сторону.

Теофиль, грозивший надавать Октаву пощечин, был в таком исступлении, что поначалу не смог выдать из себя ни слова; вдобавок он был слишком мал ростом, так что ему пришлось встать на цыпочки.

– Сударь, – сказал он наконец, – вчера я вас видел здесь с моей женой...

Но в этот момент «*Veni Creator*» смолк, и Теофиль испугался, услышав собственный голос. Притом и Дюверье, крайне смущенный происходящим, попытался убедить его, насколько неудачно выбрано место для объяснений. А перед алтарем уже началась церемония венчания. Священник, обратившийся к брачующимся с вдохновенным наставлением, взял обручальное кольцо, дабы благословить его, провозгласив:

– *Benedic, Domine Deus noster, annulum nuptialem hunc, quem nos in tuo nomine benedicimus...*⁹

Но Теофиль решил повторить, правда уже потише:

– Сударь, вчера вы были в этой церкви с моей женой.

Октав все еще не оправился от удивления после советов госпожи Жоссеран, из которых ничего не понял; тем не менее он преподнес ему, с самым непринужденным видом, следующую историю:

– Да, в самом деле, я случайно встретил тут госпожу Вабр, и мы вместе пошли посмотреть, как идут переделки распятия, которыми руководит мой друг Кампардон.

– Стало быть, вы подтверждаете?... – пролепетал оскорбленный супруг в новом приступе ярости. – Подтверждаете?..

Дюверье пришлось хлопнуть его по плечу, чтобы успокоить. Высокий детский голосок певчего проникновенно ответил:

– *Amen.*

– И вы, конечно, признаете свое письмо? – продолжал Теофиль, протянув Октаву листок.

– Послушайте, здесь не место... – вмешался шокированный советник. – Вы совсем уж обезумели, милый мой!

Октав развернул листок. Присутствующие заволновались, начали перешептываться и подталкивать друг друга, наблюдая за этой сценой поверх своих молитвенников; никто уже не следил за церемонией венчания. Одни только брачующиеся по-прежнему сидели перед священником, скованные и серьезные. Потом Берта все-таки обернулась, заметила бледного Теофиля, стоявшего перед Октавом, и с этого момента едва слушала священника, то и дело искоса поглядывая в сторону капеллы Святого Иосифа.

А Октав тем временем читал вполголоса:

– «Кошечка моя, сколько счастья ты подарила мне вчера! Итак, до вторника, в капелле Святых Ангелов, возле исповедальни».

Священник, услышавший от жениха «да», произнесенное тоном солидного человека, который ничего не подписывает, предварительно не прочитав, обратился к невесте:

⁸ Начальные слова католического гимна «Гряди, Создатель» (*лат.*).

⁹ Благослови, Господи, сей обручальный перстень, который мы освящаем Именем Твоим (*лат.*).

– Обещаете ли и клянетесь ли вы во всем хранить верность господину Огюсту Вабру, как и надлежит преданной супруге, согласно заповеди Господа нашего?

Однако Берта, заметившая письмо, с нетерпением ждала, когда раздадутся пощечины, и жадно косилась из-под фаты в угол церкви, уже не слушая священника. Наступила тягостная пауза. Наконец она поняла, чего от нее ждут, и не раздумывая торопливо ответила:

– Да-да.

Удивленный аббат Модюи проследил за ее взглядом, догадался, что в дальнем углу церкви происходит что-то необычное, и, в свой черед, отвлекся от церемонии венчания. Теперь история передавалась шепотом из уст в уста, о ней узнали все присутствующие. Дамы, бледные и серьезные, не спускали глаз с Октава. Мужчины едва скрывали игривые усмешки. Госпожа Жоссеран успокаивала Клотильду Дюверье, недоуменно пожимая плечами. Одна лишь Валери, растроганная церемонией венчания, казалось, ничего не замечала вокруг.

– «Кошечка моя, сколько счастья ты подарила мне вчера!..» – снова читал Октав, изображая глубокое удивление. Затем, вернув листок мужу, сказал: – Сударь, я ничего не понимаю. Это не мой почерк, и письмо написано не мною... Да вот, взгляните сами!

Он вынул из кармана блокнот, куда, будучи пунктуальным человеком, заносил все свои расходы, и протянул его Теофилю.

– Как это – не ваш почерк? – пролепетал тот. – Вы смеетесь надо мной, это должен быть ваш...

Священник уже готовился перекрестить левую руку Берты, но его взгляд был устремлен в угол церкви, и он, забывшись, осенил знамением ее правую руку, пробормотав:

– *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti!*¹⁰

– *Amen*, – ответил маленький певчий, вставший на цыпочки, чтобы также разглядеть происходящее в углу церкви.

Итак, скандал не состоялся. Дюверье непреложно доказал Теофилю, что письмо написано не Октавом. Присутствующие уныло вздыхали и перешептывались, они были почти разочарованы. И когда все они, еще не остыв от напряжения, повернулись наконец к алтарю, оказалось, что Берта и Огюст уже повенчаны, – невеста не придала этому никакого значения, и только жених запомнил каждое слово священника, каждый миг этой процедуры; единственное, что его мучило, – это мигрень, заставлявшая беднягу прикрывать левый глаз.

– Ах, дорогие дети! – сказал дрожащим голосом еще не пришедший в себя Жоссеран господину Вабру, который с самого начала церемонии был занят тем, что считал горящие свечи, сбивался и снова начинал свой подсчет.

А в нефе снова загудел орган; аббат Модюи опять вышел на публику в праздничном облачении, и певчие затянули торжественную праздничную мессу. Тем временем дядюшка Башляр обходил боковые капеллы, читая латинские надписи на саркофагах и не понимая ни слова; особенно его заинтересовала эпитафия, посвященная герцогу де Креки¹¹. Трюбл и Гелен подошли к Октаву, желая разузнать подробности инцидента, и теперь все трое хихикали, укрывшись за кафедрой. Песнопения внезапно обрели грозную мощь ураганного ветра; маленькие певчие усердно размахивали кадильницами, затем раздавался звон церковного колокольчика, и наступала тишина, в которой слышалось лишь бормотание священника у алтаря. А растерянный Теофиль не находил себе места; он вцепился в Дюверье, досаждая ему паническими гипотезами и не понимая, как это человек из «свидания» и человек «из письма» оказались разными людьми.

¹⁰ Во имя Отца и Сына и Святого Духа (*лат.*).

¹¹ Имеется в виду помещенное в капелле парижской церкви Святого Роха пышное надгробие *Франсуа де Креки* (1625–1687), маршала Франции, в правление Людовика XIV отличившегося во многих военных кампаниях. Фигуру маршала, который полулежа опирается на колено скорбящей дамы, символизирующей Веру и Доблесть, изваял выдающийся скульптор Антуан Кузево.

Присутствующие неотрывно следили за каждым его жестом, – казалось, вся церковь, с шествиями священников, латынью, музыкой и ладаном, взволнованно обсуждает историю с письмом. Когда аббат Модюи, прочитавший «Отче наш», спустился с кафедры, чтобы дать последнее благословение супругам, он обвел недоуменным взглядом взбудораженную паству – возбужденных женщин, ухмылявшихся мужчин – в ярком веселом свете, льющемся из окон, среди роскошного убранства центрального нефа и боковых капелл.

– Не признавайтесь ни в чем, – шепнула госпожа Жоссеран Валери, когда семья после мессы направилась к ризнице, где новобрачные и свидетели должны были расписаться в церковной книге.

Однако им пришлось дожидаться Кампардона, который увел нескольких дам, чтобы показать им реставрацию распятия в глубине церкви, за дощатой строительной перегородкой.

Наконец архитектор явился и, извинившись за опоздание, поставил свою размашистую, кудрявую подпись на брачном свидетельстве. Аббат Модюи, из уважения к обеим семьям, самолично подавал каждому перо и указывал место для подписи, улыбаясь всем с чисто светской, любезной обходительностью в этом мрачноватом помещении, чьи резные деревянные стены насквозь пропахли ладаном.

– Ну-с а вы, мадемуазель? – спросил Кампардон у Ортанс. – Разве вам не хочется последовать примеру сестры?

Однако он тут же устыдился своей бестактности, а Ортанс, которая была старшей сестрой невесты, молча стиснула зубы. Тем не менее она рассчитывала нынче же вечером, во время бала, добиться решительного ответа от Вердьё, которого вынуждала сделать выбор между ней и его сожительницей. И поэтому сухо ответила:

– Мне не к спеху... Выйду замуж, когда захочу.

Она повернулась спиной к архитектору и чуть не столкнулась со своим братом Леоном, который только что подоспел на церемонию – как всегда, с опозданием.

– Ну ты и хорош, осчастливил папу и маму! Это надо же – не явиться в церковь на венчание младшей сестры!.. Мы надеялись, что ты хотя бы приедешь вместе с мадам Дамбревиль.

– Мадам Дамбревиль делает то, что ей угодно, – сухо парировал молодой человек, – а я делаю то, что могу.

Между ним и этой дамой уже пробежал холодок. Леон считал, что она слишком долго держит его при себе; он устал от этой связи, чьи тяготы переносил лишь потому, что она посулила ему устроить какой-нибудь выгодный брак, и вот уже две недели добивался от нее выполнения обещания. А мадам Дамбревиль, сгоравшая от любви, даже пожаловалась госпоже Жоссеран на то, что именovala капризами ее сына. В результате этой последней пришлось побороть его, упрекнув в пренебрежении к семье, – можно ли пропускать такие торжественные события, как нынешняя свадьба?! Однако Леон, с его непреклонным тоном молодого демократа, оправдался срочными поручениями депутата, у которого служил секретарем, подготовкой совещания и другими неотложными делами.

– Однако же бракосочетание такая недолгая церемония, – необдуманно заметила мадам Дамбревиль, умоляюще глядя на него и пытаясь задобрить.

– Не всегда! – сухо парировал Леон.

И он отошел, чтобы поцеловать Берту, а затем пожать руку своему новоиспеченному зятю; мадам Дамбревиль, в своем наряде цвета палой листвы, побледнела, с трудом скрывая жгучую обиду, но все же гордо выпрямилась и заставила себя кое-как улыбаться входившим гостям.

Это был нескончаемый поток друзей, знакомых и прочих приглашенных, набившихся в церковь и теперь длинной чередой проходивших через ризницу. Новобрачные стояли в центре, радостно и смущенно пожимая эти бесконечные руки. Жоссераны и Дюверье не успевали представлять им гостей. Они то и дело недоуменно переглядывались: Башляр приглашал

кучу людей, которых никто не знал и которые бесцеремонно говорили в полный голос. Мало-помалу обстановка становилась тягостной: люди теснились, протягивали руки поверх чужих голов, юные девушки были зажаты между какими-то толстопузыми мужланами, и их белые юбки запутывались между ног этих папаш, братьев и дядьев, потных и красных, еще не остывших от походов в каком-нибудь потаенном уголке приличного квартала.

Как раз об этом Гелен и Трюбло, отойдя в сторонку, рассказывали Октаву: накануне Дюверье чуть было не застукал Клариссу с другим, и ей пришлось ублажать его ласками, чтобы он не обнаружил правду.

– Смотри-ка! – прошептал Гелен. – Он как раз целует молодую – представляю, как от него несет духами Клариссы!

Наконец поток гостей начал редеть. Теперь в ризнице остались только родные и самые близкие друзья. Позор Теофиля по-прежнему обсуждался в толпе, между дежурными рукопожатиями и поздравлениями; ни о чем другом там не говорили. Госпожа Эдуэн, только что узнавшая об инциденте с письмом, разглядывала Валери с удивлением женщины, для которой супружеская верность приравнивалась к физическому здоровью. Аббат Модюи, которого кто-то, несомненно, посвятил в это происшествие, выглядел довольным: его любопытство было удовлетворено, и сейчас он изъяснялся еще более медоточиво, чем прежде, стоя посреди своей паствы с ее тайными пороками. Что делать: еще одна жгучая, внезапно открывшаяся рана, которую следовало упрятать под покровом религии! И аббат, решив коротко переговорить с Теофилом, тактично внушил ему, что и нечестивцев следует прощать, ибо пути Господни неисповедимы; в первую очередь он стремился погасить скандал, разводя руками с видом жалости и бессильного отчаяния, словно хотел скрыть от Неба это скандальное происшествие.

– Наш кюре святой человек, где уж ему знать, что это такое! – прошептал Теофиль; отповедь священника привела беднягу в полное смятение.

Валери, которая из соображений приличия держала около себя мадам Жюзер, взволнованно выслушала примирительную речь, с которой аббат Модюи считал необходимым обратиться к ней. Когда свадебная процессия вышла наконец из церкви, она пропустила вперед Берту под руку с мужем, а сама задержалась около обоих отцов новобрачных.

– Вы, должно быть, довольны, – сказала она Жоссерану, стараясь говорить непринужденно. – Поздравляю вас!

– Да-да, – вяло вставил Вабр, – слава богу, еще одна тяжелая обуза с плеч!

Пока Трюбло и Гелен хлопотали, рассаживая всех дам по экипажам, госпожа Жоссеран, чья шаль привлекала внимание уличных зевак, упорно стояла на тротуаре, чтобы вдоволь насладиться своим материнским триумфом.

Праздничный ужин, который состоялся в ресторане отеля «Лувр», был все еще омрачен злополучным скандалом Теофиля. Это было подлинное наваждение: о нем говорили весь остаток дня – в экипажах, по дороге к Булонскому лесу, – и все дамы дружно сходились на том, что муж мог бы потерпеть до завтра, обнаружив злосчастное письмо.

Впрочем, теперь за столом сидели только самые близкие гости обеих семей. Единственным веселым сюрпризом стал тост дядюшки Башляра, которого Жоссераны не могли не пригласить, даром что боялись сюрпризов с его стороны. К тому времени как подали жаркое, он был уже мертвецки пьян и, подняв бокал, запутался в своем тосте:

– Я счастлив от счастья, которое испытываю... – повторяя его и не зная, как закончить.

Гости снисходительно улыбались. Огюст и Берта, смертельно уставшие, временами удивленно переглядывались, словно не понимали, почему сидят здесь, рядом, а когда вспоминали, смущенно склонялись над тарелками. На бал пригласили около двухсот человек. И гости начали прибывать уже с половины десятого. Просторный «красный салон», освещенный тремя люстрами, освободили, сдвинув стулья к стенам и оставив в дальнем конце место для малень-

кого оркестра; вдобавок родственники новобрачных сняли номер в отеле, где могли передохнуть.

И как раз в тот момент, когда Клотильда Дюверье и госпожа Жоссеран начали принимать первых гостей, бедняга Теофиль, за которым следили с самого утра, позволил себе прискорбную грубость. Кампардон попросил Валери оставить за ним первый вальс. Она засмеялась, и ее муж усмотрел в этом новый вызов.

– Вы смеетесь... смеетесь! – пролепетал он. – Так признайтесь же, от кого это письмо?.. Ведь кто-то же написал его – это письмо?

Бедняге понадобился целый день, чтобы выделить эту мысль из смятенных предположений, в которые его поверг ответ Октава. Теперь он упорно держался вопроса: если это не господин Муре, значит есть кто-то другой? И добивался, чтобы ему назвали этого другого. Поскольку Валери отошла от него, не ответив, он догнал ее и грубо схватил за плечо, чуть не вывернув ей руку и твердя с жестокостью рассерженного ребенка:

– Я тебе сейчас руку сломаю... Говори, от кого это письмо?

Испуганная молодая женщина смертельно побледнела и едва сдержала крик боли. Кампардон почувствовал, как она бессильно прикинула к его плечу в одном из тех нервных приступов, которые часами терзали ее. Он едва успел довести ее до комнаты, снятой обеими семьями, и уложить на диван. Подоспевшие дамы – мадам Дамбревиль и госпожа Жюзер – распустили шнуровку ее корсета, а сам Кампардон тактично вышел.

Однако три-четыре человека в зале успели заметить эту жестокую выходку Теофиля. Клотильда Дюверье и госпожа Жоссеран продолжали встречать гостей, мало-помалу заполнявших просторное помещение светлыми дамскими нарядами и черными фраками. В зале стоял невнятный гул поздравлений и пожеланий, вокруг новобрачной мелькали бесконечные улыбающиеся лица: пухлые, грубоватые у отцов и матерей, худенькие у девочек, тонкие и участливые у молодых женщин. В глубине зала один из скрипачей настраивал свой инструмент, издававший короткие жалобные всхлипы.

– Я прошу меня извинить, – сказал Теофиль, подходя к Октаву; он встретился с ним глазами в тот момент, когда выкручивал руку жене. – Но согласитесь, на моем месте любой человек заподозрил бы вас, не правда ли. А теперь я хочу пожать вам руку в знак того, что признаю свою ошибку.

Он пожал Октаву руку и отвел его в уголок – бедняге хотелось найти человека, перед которым он мог выговориться, облегчить душу.

– Ах, сударь, если вам все рассказать...

И начал долго, пространно говорить о своей жене. До замужества она была такой хрупкой; окружающие в шутку предрекали, что ее излечит только брак. Девушка задыхалась в лавке родителей, где он виделся с ней целых три месяца, каждый вечер; в то время она всегда была такой милой и покорной, печальной, но очаровательной.

– И что же: замужество ее не исцелило, ничуть не исцелило... Прошло несколько недель, а она вела себя ужасно, мы никак не могли поладить. Скандалы на пустом месте... И каждую минуту у нее менялось настроение, она то смеялась, то плакала, неизвестно почему. Какие-то абсурдные чувства, безумные идеи, постоянное стремление разозлить всех вокруг... В конце концов, сударь, мой дом превратился в сущий ад.

– Очень странно, – пробормотал Октав, лишь бы что-нибудь сказать.

И тут бедняга-муж, бледный как смерть, привстав на цыпочки, чтобы не выглядеть смешным на своих коротеньких ножках, заговорил о постыдном поведении этой несчастной. Дважды он было заподозрил ее в супружеской измене, но собственная порядочность не позволяла ему укрепиться в этой мысли. Однако на сей раз он все-таки был вынужден признать очевидное. Ведь в данном случае все очевидно, не правда ли? И он стал шарить дрожащими пальцами в жилетном кармане, где лежало роковое письмо.

– И добро бы она делала это из-за денег, такое я еще мог бы понять, – добавил он. – Однако я совершенно уверен, что ей не платят, иначе мне это стало бы известно... Но тогда объясните мне, что с ней творится? Я ее буквально на руках ношу, в нашем доме у нее есть все, что душе угодно, и я не понимаю... Может, хоть вы что-нибудь понимаете – в таком случае объясните мне, Христа ради!

– Да, это странно, очень странно, – повторил Октав, шокированный этими признаниями; он не знал, как ему отделаться от собеседника.

Однако муж, снедаемый лихорадочным желанием узнать правду, упорно не отпускал его от себя. В зал вышла из комнаты мадам Жюзер; она что-то шепнула на ухо госпоже Жоссеран, которая в этот момент почтительно приветствовала знаменитого ювелира из Пале-Рояля, и та, крайне взволнованная, вышла за ней следом.

– Мне кажется, у вашей супруги сильнейший нервный припадок, – сказал Октав Теофилю.

– Ах, оставьте! – сердито ответил тот, уязвленный тем, что сам он недостаточно тяжело болен, чтобы над ним так хлопотали. – Она очень довольна, что вызвала этот переполох и что все ее жалеют... Я чувствую себя ничуть не лучше, чем она, и вдобавок никогда ей не изменял, вот так-то!

Госпожа Жоссеран все не возвращалась в зал. Среди близких прошел слух, что Валери бьется в сильнейших конвульсиях. Ее могли бы сдерживать только мужчины, но, поскольку она была полураздета, от помощи Трюбло и Гелена отказались. Тем временем оркестр заиграл кадрили. Берта открыла бал в паре с Дюверье, который танцевал с подобающей его положению важностью; тем временем Огюст составил им визави в паре с Ортанс, за отсутствием ее матушки. От молодых скрыли приступ Валери, чтобы не омрачать им праздник. Бал был в самом разгаре; в зале, ярко освещенном люстрами, не умолкал веселый смех. Полька, чей задорный, скачущий ритм подчеркивали скрипки, заставила пары вихрем носиться по залу среди всплесков длинных дамских тренов.

– Доктор Жюйера... где доктор Жюйера? – спросила госпожа Жоссеран, выбежав из комнаты.

Врач был приглашен на свадьбу, но никто из присутствующих его пока не видел. Госпожа Жоссеран не могла скрыть глухого раздражения, которое мучило ее с самого утра. И она излила его перед Октавом и Кампардоном, не стесняясь в выражениях:

– Ну, с меня хватит! Весь этот нескончаемый разврат... на свадьбе моей дочери!

Она стала высматривать в толпе Ортанс и наконец заметила ее; та беседовала с господином, которого госпожа Жоссеран видела со спины, но по широким плечам тотчас опознала Вердье. Это лишь усугубило ее раздражение. Она сухо подозвала дочь и сказала, понизив голос, что лучше бы ей быть в распоряжении матери в такой трудный день, как этот. Ортанс не приняла ее упреков. Она торжествовала: Вердье только что назначил день их свадьбы, через два месяца, в июне.

– Ах, оставь меня в покое! – ответила мать.

– Уверяю тебя, мама... Он уже трижды в неделю не ночует дома, чтобы приучить *ты* к своему отсутствию, а через две недели и вовсе съедет оттуда. Тогда между ними все будет кончено, и я его получу.

– Оставь меня в покое! – повторила мать. – Меня уже тошнит от вашего романа!.. Будь любезна дожидаться у входа доктора Жюйера и сразу прислать его ко мне... А главное, ни слова твоей сестре!

И она вернулась в соседнюю комнату, оставив в зале Ортанс, которая бормотала себе под нос, что ей, слава богу, не требуется ничье одобрение и что у нее-то уж будет больше гостей на свадьбе, когда она выйдет замуж удачнее некоторых. Тем не менее она вышла в вестибюль дожидаться врача.

Теперь оркестр играл вальс. Берта танцевала с молоденьким кузеном мужа, поочередно оказывая честь всем его родственникам. Госпоже Дюверье не удалось отделаться от приглашения дядюшки Башляра, и он безумно раздражал ее, шумно дыша в лицо. В зале становилось все жарче; мужчины, вытиравшие пот со лба, осаждали буфет. Маленькие девочки затеяли танцевать в углу зала друг с дружкой, тогда как их матери, сидевшие в сторонке, тоскливо вспоминали об упущенных женихах своих незадачливых дочерей.

Гости непрестанно поздравляли обоих отцов – Вабра и Жоссерана, которые сидели рядышком, не расставаясь, хотя при этом оба молчали, тогда как окружающие развлекались вовсю и нахваливали перед ними этот веселый бал. Такое веселье было, по выражению Кампардона, добрым предзнаменованием. Архитектор из вежливости выражал беспокойство состоянием Валери, но при этом не пропускал ни одного танца. Ему пришлось в голову послать свою дочь Анжель разузнать новости о больной, от его имени. Четырнадцатилетняя девочка, которая с самого утра сгорала от интереса к этой даме, доставившей всем столько хлопот, с восторгом согласилась пробраться в запретную комнату. Поскольку она долго не выходила, архитектор осмелился приоткрыть дверь и заглянуть в щелку. Его дочь стояла возле дивана и глядела как замороженная на Валери, чья обнаженная грудь, сотрясаемая спазмами, выступала из расшнурованного корсета. Дамы возмущенно загалдели, приказывая ему уйти, и он ретировался, поклявшись перед этим, что просто хотел узнать, как дела.

– Скверно, все очень скверно, – печально доложил он тем, кто стоял возле этой двери. – Они едва удерживают ее вчетвером... Надо же, при таком сложении и при таких судорогах еще ничего себе не сломать!..

В результате около двери собралась целая группа любопытных. Гости вполголоса обсуждали все подробности припадка, вплоть до мелочей. Дамы, знавшие о происшествии, подходили туда же, между двумя кадрилями пробирались в комнату, а затем, выйдя оттуда, все докладывали мужчинам и снова шли танцевать. Теперь это был самый что ни на есть таинственный уголок, где тихо перешептывались, где обменивались понимающими взглядами, посреди всеобщего шумного ажиотажа. Один только Теофиль, всеми забытый, топтался перед этой дверью, растравляя себя мыслью о том, что над ним все насмеются и что он не должен этого терпеть.

Наконец прибыл доктор Жюйера; он торопливо пересек бальную залу в сопровождении Органс, на ходу рассказывавшей ему о происшествии. За ними шла госпожа Дюверье. Несколько человек, заметивших врача, удивились; по залу тотчас поползли шепотки. Едва врач исчез за дверью комнаты, как госпожа Жоссеран вышла оттуда вместе с мадам Дамбревиль. Она была вне себя от гнева: ей пришлось вылить на голову Валери целых два графина воды; никогда еще она не видела столь нервной женщины! Теперь она решила обойти бальную залу, чтобы одним своим появлением пресечь нескромные сплетни. Однако при этом она шла с таким скорбным видом, с такой горькой усмешкой, что все окружающие мгновенно догадывались о положении дела.

Мадам Дамбревиль ни на шаг не отставала от нее. С самого утра она то и дело заводила речь о Леоне, пытаясь печальными намеками побудить ее ходатайствовать перед сыном, дабы укрепить их связь. Она указала ей на Леона, который с видом преданного поклонника вел на место после танца какую-то высокую сухопарую девицу.

– Он нас совсем забыл, – сказала она с наигранно легким смешком, едва сдерживая подступавшие слезы. – Побраните же вашего сына за то, что он даже не удостоивает нас взглядом.

– Леон! – позвала его мать.

И когда тот подошел, добавила с грубой откровенностью, даже не думая смягчать свою отповедь:

– Почему ты рассорился с мадам?.. Она тебя ни в чем не упрекает. Объяснитесь же, наконец. Дурной характер ни к чему путному не приведет.

И она оставила их вдвоем, лицом к лицу, оцепеневших от удивления. Мадам Дамбревиль взяла Леона под руку, и они подошли к окну, где переговаривали, после чего покинули зал вместе, с видом любящей пары. Она поклялась Леону, что осенью женит его.

Госпожа Жоссеран, продолжавшая расточать улыбки направо и налево, вдруг увидела перед собой Берту, запыхавшуюся после очередного танца, ярко-розовую в своем белом, уже помятом платье, и взволновалась до глубины души. Она горячо обняла дочь, думая, по какой-то смутной ассоциации, о той несчастной, что лежала в соседней комнате, с искаженным конвульсиями лицом.

– Бедная моя деточка, бедная деточка!.. – бормотала она, осыпая дочь горячими поцелуями.

На что Берта преспокойно спросила:

– Ну как она там?

К госпоже Жоссеран тут же вернулась ее обычная бдительность: неужто и Берта все знает?!

Ну разумеется, та все знала, как и остальные. Разве только ее супруг – и она указала на Огюста, который вел к буфету какую-то старую даму, – еще не слышал об этой истории. Но она сейчас же попросит кого-нибудь ввести его в курс дела, чтобы он не выглядел так глупо, – вечно он все узнает позже других и ни о чем не догадывается.

– Боже мой, а я-то изо всех сил пыталась скрыть этот скандал! – воскликнула уязвленная госпожа Жоссеран. – Ну что ж, больше я не стану церемониться, пора с этим кончать. Я не потерплю, чтобы эти Вабры выставили тебя на посмешище!

И в самом деле, все уже всё знали – просто не говорили об этом вслух, чтобы не омрачать бал. Оркестр заглушил первые сочувственные слова; а позже гости даже начали посмеиваться над этой историей, в непринужденных объятиях танцующих пар. В зале стояла жара, наступала ночь. Лакеи разносили прохладительные напитки. На одном из диванчиков две маленькие девочки, разморенные усталостью, спали, крепко обнявшись, щекой к щеке. Вабр, сидевший подле оркестра, рядом с хрипящим контрабасом, решился посвятить Жоссерана в свой великий проект: вот уже две недели, как его одолевают сомнения, которые тормозят работу, – речь шла о том, как обозначить картины двух живописцев, носящих одно и то же имя; тем временем сидевший рядом Дюверье, собрав вокруг себя группу слушателей, пылко порицал императора, который дозволил играть в «Комеди Франсез» пьесу, бичующую общество. Однако стоило оркестру вновь заиграть вальс или польку, как слушателям приходилось посторониться: танцующим парам требовалось много места; дамские шлейфы подметали паркет, вздымая пыль, заставляя колебаться теплые огоньки свеч и разнося по залу смутные ароматы духов.

– Ей уже полегчало, – доложил подбежавший Кампардон, который снова заглянул в комнату к больной. – Теперь туда можно войти.

Некоторые из друзей рискнули проведать Валери. Она все еще лежала, но кризис миновал; из приличия ее обнаженную грудь прикрыли полотенцем, обнаруженным на консоли. Клотильда Дюверье и мадам Жюзер стояли у окна, слушая доктора Жюйера, который объяснял им, что эти припадки иногда проходят, если обложить шею больного горячими компрессами. Увидев Октава, входившего вместе с Кампардоном, Валери знаком подозвала к себе молодого человека и обратилась к нему с несколькими словами, все еще несвязными из-за недавнего приступа. Ему пришлось сесть рядом с больной по приказу врача, который категорически запретил перечить ей; таким образом, Октав, уже выслушавший недавно признания мужа, выслушал теперь ее собственные. Она трепетала от страха, принимала Октава за своего любовника, умоляла спрятать ее. Потом внезапно узнала его и разразилась слезами, горячо благодаря за утреннюю ложь во время венчания. А Октав вспоминал ее прежний приступ, тот, которым он пытался воспользоваться с похотливым желанием школьника. Теперь он стал ее другом, и она будет исповедоваться ему – что ж, пожалуй, это и к лучшему.



В этот момент Теофиль, все еще топтавшийся за дверью, решился наконец войти в комнату. Вот ведь другие мужчины уже побывали там, так почему бы не последовать их примеру?! Однако его появление вызвало целый переполох. Услышав голос мужа, Валери снова судорожно затряслась, и все решили, что у нее начинается новый приступ. А он, отталкивая руки дам, которые мешали ему подойти, упрямо твердил:

– Я прошу ее только об одном – назвать имя... Пускай назовет его имя!

Но тут вошедшая госпожа Жоссеран разгневалась не на шутку. Стремясь погасить скандал, она затолкала Теофиля в угол и разъяренно заявила:

– Да что ж это, сударь, когда вы оставите нас в покое?! С самого утра вы досаждаете нам своими глупостями... Вам недостает такта, да-да, вы бестактны до безобразия! Такие вещи не выясняют в день свадьбы соседей!

– Позвольте, мадам, – пролепетал он, – это мое дело, оно вас не касается!

– Как это – не касается меня?! Да ведь я теперь член вашего семейства – неужто вы считаете, что эта история должна меня забавлять, притом на венчании моей дочери?! Хорошенькую же свадьбу вы ей устроили! Ни слова больше, сударь, вы бестактный человек!

Бедняга совсем растерялся и посмотрел вокруг, ища поддержки. Но дамы открыто выказывали ему свою холодность, давая понять, что строго осуждают такое поведение. Да, госпожа Жоссеран нашла верное слово: он проявил бестактность; бывают такие обстоятельства, когда необходимо сдерживать свои порывы. Даже сестра Теофиля – и та его осуждает. А он все еще

пытается протестовать, и это вызывает всеобщее возмущение. Нет-нет, пусть даже не смеет оправдываться, воспитанные люди так себя не ведут!

Этот выговор заткнул ему рот. Он выглядел таким потерянным, таким несчастным, со своими хилыми руками и ногами, с унылым лицом старой девы, что дамы в конце концов начали усмехаться. Мужчина, который лишен того, что делает женщину счастливой, не имеет права жениться. Органс мерила беднягу презрительным взглядом; маленькая Анжель, на которую не обращали внимания, вертелась вокруг него, насмешливо разглядывая, словно искала причину его убожества, и он стушевался вконец, залившись краской, когда все эти рослые, грузные, широкобедрые создания обступили его со всех сторон. Однако и они чувствовали, что надобно как-то уладить дело. Валери снова разрыдалась, и доктор Жюйера опять начал смачивать ей виски. Но тут дамы, переглянувшись, поняли, как поступить: их сблизил дух женской солидарности. И они подступили к мужу.

– Черт возьми, – шепнул Трюбло, снова подойдя к Октаву, – до чего же все просто: говорят, письмо-то было адресовано служанке.

Госпожа Жоссеран, услышав это, обернулась, восхищенно глядя на него. Затем, обратившись к Теофилю, сказала:

– Ну подумайте сами: будет ли безвинная женщина опускаться до оправданий, когда ее обвиняют так грубо, как вы?! А вот я могу кое-что сказать вам вместо нее... Это письмо обронила Франсуаза, та самая служанка, которую ваша жена уволила из-за непристойного поведения. Ну что, довольны вы теперь? Вам должно быть стыдно, сударь!

Сперва несчастный супруг только пожал плечами. Однако все дамы, сохраняя серьезность, отвергали его обвинения с полнейшей убежденностью в своей правоте. И когда мадам Дюверье гневно крикнула, что брат ведет себя мерзко, что она порвет с ним отношения, бедняга сдался и бросился обнимать жену, умоляя ее о прощении и жаждая добиться ответной ласки. Это была весьма трогательная сцена. Даже госпожа Жоссеран и та расчувствовалась.

– Вот так-то: худой мир лучше доброй ссоры! – с облегчением сказала она. – Слава богу, нам удастся спокойно, без скандала, завершить этот день.

Когда Валери помогли одеться и она появилась в большой зале под руку с Теофилом, всем показалось, что свадебное торжество достигло апофеоза. Время шло уже к трем часам ночи, гости начинали расходиться, но оркестр из последних сил играл кадрили за кадрилию. Мужчины ухмылялись при виде помилившейся супружеской пары. Медицинский термин, брошенный Кампардоном в адрес бедняги Теофиля, преисполнил ликованием мадам Жюзер. Юные девицы теснились вокруг Валери, жадно рассматривая ее, но тут же принимали глуповато-наивный вид под негодующими взглядами матерей. Тем временем Берта наконец-то пошла танцевать со своим супругом и, похоже, что-то тихонько шепнула ему на ухо. Огюст, посвященный наконец в эту историю, обернулся, не сбавляя темпа, и посмотрел на своего брата Теофиля с удивлением и превосходством человека, которому подобные истории уж никак не грозят. Наконец заиграли финальный галоп, и пары понеслись по залу в душной жаре, в рыжеватом мерцании свечей, чьи пляшущие огоньки играли яркими отсветами на медных подвесках канделябров.

– Вы с ней близко знакомы? – спросила госпожа Эдуэн, которая кружилась в объятиях Октава, наконец-то приняв его приглашение на танец.

Молодому человеку почудилось, что по ее стройной, прямой спине пробежала легкая дрожь.

– Совсем незнаком, – ответил он. – Я крайне огорчен тем, что меня впутали в эту историю... К счастью, бедняга-муж все проглотил.

– Это очень дурно, – объявила его партнерша, со своей всегдашней серьезностью.

Октав, несомненно, ошибся: когда по окончании танца он опустил руку, обвинявшую талию госпожи Эдуэн, она даже не запыхалась; ее глаза были по-прежнему ясны, темные бандо

идеально гладки. Однако конец бала омрачило другое скандальное происшествие. Дядюшке Башляру, вдрызг напившемуся у буфета, пришла в голову игривая мысль. Внезапно все увидели, как он отплясывает перед Геленом нечто совершенно непристойное. Свернутые салфетки, засунутые спереди под застегнутый сюртук, придавали ему вид полногрудой кормилицы, а два больших кроваво-красных апельсина торчавшие из-под салфеток, напоминали о мясной лавке. На сей раз возмутились все присутствующие: даже если человек зарабатывает бешенные деньги, он должен знать меру и не забывать о приличиях, особенно в присутствии молодых людей! Жоссеран, стыдась, в полном отчаянии приказал вывести шурина из залы. Дюверье с омерзением глядел ему вслед.

В четыре часа утра новобрачные приехали на улицу Шуазель, с ними прибыли Теофиль и Валери. Поднимаясь на третий этаж, где молодым обустроили квартиру, они столкнулись с Октавом, который также шел к себе. Молодой человек из вежливости посторонился, но Берта сделала то же самое, и они столкнулись.

– Ох, извините, мадемуазель! – сказал он.

Это слово «мадемуазель» рассмешило их обоих. Берта посмотрела на Октава, и ему вспомнился ее первый взгляд на этой же самой лестнице – веселый и задорный взгляд, ставший для него, нового жильца, очаровательным приветствием. Похоже, сейчас они оба вспомнили об этом, и Берта покраснела, а Октав уже поднимался к себе, в одиночестве, в мертвой тишине, царившей на верхних этажах дома.

Огюст, истерзанный мигренью, мучившей его с самого утра, уже вошел, прикрывая левый глаз, в квартиру, куда поднялись и его родственники. Прощаясь с Бертой, Валери, уступив внезапному порыву нежности, крепко обняла ее, окончательно смяв белое подвенечное платье, поцеловала и шепнула на ухо:

– Дорогая моя, желаю, чтобы вам повезло больше, чем мне!

IX

Два дня спустя, около семи часов вечера, Октав пришел к Кампардонам ужинать и застал там только Розу в шелковом кремовом пеньюаре с белой кружевной отделкой.

– Вы кого-нибудь ждете? – спросил он.

– Да нет, – ответила она с легким смущением. – Как только придет Ашиль, мы тотчас же сядем ужинать.

В последнее время архитектор вел себя как-то странно: постоянно опаздывал к столу, прибегал домой красный, встрепанный, проклиная навалившиеся дела. И каждый вечер исчезал куда-то под разными предлогами, отговариваясь встречами в кафе, придумывая какие-то собрания в дальних концах города. Теперь Октаву часто приходилось составлять Розе компанию до одиннадцати вечера; он уже понял, что муж предложил ему столоваться у них, чтобы было кому развлекать его супругу, а та мягко сетовала на мужа, делясь с Октавом своими страхами и говоря: «Боже мой, я ведь предоставляю мужу полную свободу, просто я очень тревожусь, когда он возвращается после полуночи!»

– Скажите, вам не кажется, что с некоторых пор он ходит грустный? – спросила она Октава с легкой тревогой.

Нет, молодой человек ничего такого не заметил.

– Мне кажется, он скорее чем-то озабочен... Может быть, у него не ладятся работы в Святом Рохе... – сказал он.

Но госпожа Кампардон только кивнула и сменила тему. Теперь она проявила интерес к делам Октава, начала расспрашивать его, как обычно, чем он сегодня занимался, с чисто материнской или сестринской заботой. Он столовался у них около девяти месяцев, и она обращалась с ним как с родным сыном.

Наконец явился архитектор.

– Добрый вечер, милочка, кошечка моя, – сказал он, целуя жену с пылкой нежностью любящего мужа. – Представь: один болван битый час продержал меня на улице!

Октав тактично отсел подальше, но все же услышал их тихий разговор:

– Она придет?

– Нет. Да и зачем это?! Ты, главное, не волнуйся.

– Но ты же мне поклялся привести ее!

– Ну хорошо, хорошо... Она придет. Теперь ты довольна? Я сделал это только ради тебя.

Все сели за стол. За ужином разговор шел об английском языке, который вот уже две недели изучала Анжель. Кампардон неожиданно решил, что девушкам необходимо знать английский, а поскольку Лиза прежде служила у одной актрисы, приехавшей из Лондона, каждое блюдо, которое она должна была поставить на стол, становилось предметом обсуждения на этом языке. Нынче вечером, после долгих мучительных попыток произнести слово «*rumsteak*», служанка должна была подать жаркое; правда, Виктория передержала его на огне, так что «ромштейкс» оказался жестким, как подметка.

Они уже приступили к десерту, когда внезапный звонок в дверь заставил вздрогнуть госпожу Кампардон.

– Там пришла кухня мадам! – объявила Лиза оскорбленным тоном служанки, которую забыли посвятить в семейные тайны.

И в самом деле, в столовую вошла Гаспарина – в простеньком черном шерстяном платье продавщицы, с осунувшимся, унылым лицом. Роза, кокетливо одетая в шелковый кремовый пеньюар, пухленькая и свежая, встала, чтобы встретить ее; она была так взволнована, что у нее навернулись слезы на глаза.

– Ах, моя дорогая, – прошептала она, – как это мило с твоей стороны... Забудем прошлое, не правда ли?

Она обняла кузину и нежно расцеловала ее. Октав из вежливости решил было удалиться, но хозяева запротестовали: он должен остаться, ведь он здесь свой человек! Что ж, он остался и с интересом следил за этой сценой. Кампардон, поначалу сильно смущенный, прятал глаза от обеих женщин, пытался, суеился в поисках сигары; тем временем Лиза, с грохотом собиравшая посуду, переглядывалась с Анжель, удивленной не меньше.

– Это твоя родственница, – объявил наконец архитектор дочери. – Ты, наверно, слышала, как мы говорили о ней... поцелуй же ее.

Девочка подчинилась со всегдашней угрюмой миной; ей не понравился изучающий взгляд Гаспарины, которая начала расспрашивать, сколько ей лет, чем она занимается. Позже, когда все собрались перейти в гостиную, девочка предпочла последовать за Лизой, которая яростно захлопнула дверь столовой, бросив напоследок:

– Ничего себе! Интересно посмотреть, что здесь дальше будет? – не боясь, что ее услышат хозяева.

В гостиной Кампардон, все еще не остывший от волнения, начал оправдываться:

– Честное слово, эта прекрасная мысль пришла в голову не мне... Роза сама захотела помириться с вами. Вот уже неделя, как она мне твердит каждое утро: «Разыщи ее... разыщи!» Ну вот, я и разыскал вас в конце концов.

И архитектор, словно чувствуя потребность убедить в этом Октава, отвел его к окну и добавил:

– Ох уж эти женщины... Меня это ужасно тяготило, боюсь я таких историй. Одна справа, другая слева, и никакого буфера между ними... Но мне пришлось уступить – Роза уверяла, что так всем нам будет лучше. В общем, нужно попытаться. Теперь моя жизнь будет зависеть от них обеих.

– А как твое здоровье? – вполголоса спросила Гаспарина. – Ашиль мне рассказал... Тебе сейчас не лучше?

– Нет, не лучше, – печально ответила Роза. – Как видишь, я ем, я хорошо выгляжу... Но это мне не помогает... и никогда не поможет.

И она заплакала. Теперь уже Гаспарина обняла ее и прижала к своей плоской, горячей груди, а Кампардон подбежал к ним, чтобы утешить.

Наконец Роза и Гаспарина сели рядышком на диванчик и начали вспоминать прошлое – дни, проведенные в Плассане у доброго папаши Домерга. В те годы у Розы был свинцовый цвет лица, худые руки и ноги девочки, тяжело переносившей взросление, тогда как Гаспарина уже в свои пятнадцать лет выглядела сформировавшейся женщиной, высокой и соблазнительной, с прекрасными глазами; и вот теперь они разглядывали и не узнавали друг дружку; одна – свежая, пухленькая, несмотря на вынужденное воздержание, другая – высохшая, истощенная нервной, сжигающей ее страстью. В какой-то момент Гаспарина устыдилась своего пожелтевшего лица и заношенного платья, сидя рядом с Розой, наряженной в шелк, прикрывавшей кружевными воланами пышную белоснежную грудь. Однако она подавила этот приступ ревности и с первых же минут повела себя как бедная родственница, такая жалкая в сравнении с нарядной, привлекательной кузиной.

– Почему ты плачешь? – участливо спросила она. – Ты же не страдаешь от боли, и это главное... А остальное не важно – ведь тебя постоянно окружают любящие близкие!

И Роза начала успокаиваться, даже заулыбалась сквозь слезы. Архитектор в порыве умиления обнял за талии обеих женщин, поочередно раздавая им поцелуи и лепеча:

– Да-да, мы будем очень любить друг друга... мы будем очень любить тебя, бедная моя цыпоська... Вот увидишь, все наладится, главное – теперь мы вместе! – И, обернувшись к Октаву, добавил: – Ах, дорогой мой, что бы там ни говорили, а лучше семьи ничего нет!

Конец вечера прошел очень приятно. К Кампардону, неизменно засыпавшему после ужина, когда он бывал дома, нынче вернулось бесшабашное веселье художника, со старыми шутками и непристойными песенками Школы изящных искусств. Около одиннадцати часов Гаспарина собралась уходить, и Роза решила проводить ее до двери, несмотря на то что ей трудно было ходить; перегнувшись через перила в торжественном безмолвии лестницы, она крикнула:

– Приходи почаще!

На следующий день заинтригованный Октав попытался разговорить кузину в «Дамском Счастье», когда они вместе принимали новую партию нижнего белья. Но Гаспарина отвечала сухо, почти враждебно: ей было неприятно, что он стал свидетелем вчерашней встречи. Впрочем, она давно невзлюбила его и, встречая в магазине, неизменно держалась почти неприязненно. Она уже давно угадала намерения Октава в отношении хозяйки магазина и следила за его упорной осадой с мрачным видом и презрительными гримасами, иногда приводившими его в смущение. Когда эта злобная дылда с иссохшими руками оказывалась между ним и госпожой Эдуэн, он испытывал четкое и неприятное ощущение, что ему никогда не удастся добиться своего.

Октав отвел себе на эту осаду шесть месяцев. Прошло уже четыре, и его снедало нетерпение. Каждое утро он спрашивал себя, не следует ли ему форсировать ход событий, поскольку он так и не добился расположения этой женщины, неизменно хладнокровной и невозмутимой. А ведь поначалу она с таким интересом отнеслась к его смелым замыслам, к мечтам о создании современных магазинов, выставлявших миллионы товаров на тротуары Парижа. Господин Эдуэн нередко бывал в отлучке, и тогда она сама, вместе с Октавом, вскрывала по утрам деловые письма, задерживала его у себя, советовалась, одобряла его идеи, и между ними возникало нечто подобное деловой дружбе. Их руки соприкасались на пачках счетов, дыхание смешивалось при обсуждении цен, и общий восторг объединял их перед кассой в дни особенно высокой прибыли. Октав старался затягивать такие моменты; в конечном счете он решил завоевать владелицу магазина, сделав ставку на коммерческую сторону ее натуры, и одержать победу, улучив момент слабости в день особенно выгодной внезапной продажи. А потому старался изобрести какой-нибудь неожиданный трюк, который отдаст госпоже Эдуэн в его власть. Ну а пока стоило закончить обсуждение дел, как она тотчас обретала всегдашнее властное хладнокровие, вежливо отдавая ему распоряжения, как отдавала их остальным приказчикам, и управляла работой магазина с холодным бесстрастием красивой женщины, затянутой в строгое, неизменно черное платье, носившей короткий мужской галстук на своей груди античной статуи.

К этому времени господин Эдуэн расхворался, и ему пришлось провести целый сезон в Виши, на водах. Октав искренне радовался отсутствию хозяина. Госпожа Эдуэн, несмотря на свой неприступный нрав, неизбежно должна была смягчиться в отсутствие супруга. Однако его надежды не оправдались: он не почувствовал в ней ни трепета, ни томного желания. Напротив, теперь она была намного энергичней, судила обо всем еще более здраво, смотрела за порядком еще зорче. Встав на заре, она самолично принимала товар в подвалах, с деловитостью приказчика, как всегда с пером за ухом. Ее видели повсюду, сверху донизу, в отделах шелка и белья; она зорко следила за прилавками и за продажей, спокойно и невозмутимо обходила магазин, и к ее платью не приставала ни одна пылинка среди нагромождения тюков, едва помещавшихся в чересчур тесном здании. Когда Октав сталкивался с ней в каком-нибудь узком проходе, между кипами шерстяных товаров и стопками полотенец, он уступал ей дорогу намеренно неловко, чтобы задержать подле себя хоть на секунду, чтобы она коснулась его грудью, но она проходила мимо, настолько поглощенная делами, что он едва ощущал касание ее платья. Особенно досаждал ему зоркий взгляд мадемуазель Гаспарины, неизменно устремленный на них в такие моменты.

Однако молодой человек не отчаивался. Временами ему казалось, что цель уже близка, и он начинал обдумывать, как устроит свою жизнь, став любовником хозяйки. Он не прерывал связь с Мари в ожидании лучшего; до поры до времени она была ему удобна и ровно ничего не стоила, хотя впоследствии ее рабская преданность, вероятно, могла бы стать обременительной. Ну а пока он пользовался ею вечерами от нечего делать, заранее прикидывая, каким образом бросит ее. Внезапный, грубый разрыв отношений казался ему неуместным. Как-то праздничным утром, когда Жюль куда-то отлучился, Октав собрался посетить соседку, и ему неожиданно пришла в голову удачная мысль – вернуть Мари ее мужу, толкнуть этих любящих супругов в объятия друг другу, а самому устранить так, чтобы не в чем было себя упрекнуть. Таким образом он сделал бы доброе дело; столь благородный поступок мог избавить его от всяких угрызений совести. Однако, пока он еще выжидал, ему не хотелось оставаться совсем без женщины.

Октава заботило еще одно осложнение, связанное с Кампардонами. Он предчувствовал, что скоро будет вынужден столоваться где-нибудь в другом месте. Вот уже три недели, как Гаспарина водворилась в квартире архитектора, где постепенно захватывала власть над ее обитателями. Сперва она приходила туда каждый вечер, потом ее стали видеть там и за обедом; несмотря на занятость в магазине, она начала распоряжаться всей жизнью семьи, вплоть до воспитания Анжель и закупки провизии. Роза непрестанно твердила Кампардону:

– Ах, как хорошо было бы, если бы Гаспарина жила у нас!

Но архитектор всякий раз восклицал, краснея от мучившего его тайного стыда:

– Нет-нет, это невозможно... Во-первых, где она будет спать?

И объяснял жене, что ему в таком случае придется уступить кухне свой кабинет, а самому вместе с рабочим столом и планами перебраться в гостиную. О, конечно, это его ничуть не стеснит, – возможно, в будущем он и решится на такую перемену, поскольку гостиная им не нужна, и наконец объявлял, что при заказах, которые сыплются на него со всех сторон, в кабинете ему скоро будет слишком тесно. Впрочем, Гаспарина вполне может жить там, где жила. К чему им так тесниться?!

– Когда людям хорошо, – твердил он Октаву, – не стоит стремиться к лучшему.

Как раз в это время ему пришлось уехать на два дня в Эврё: его беспокоили строительные работы в архиепископстве. Он уступил желанию монсеньора, не получив от него открытого кредита, однако установка калорифера и плиты для новых кухонь грозила обернуться огромными расходами, при которых он никак не мог бы уложиться в смету. Вдобавок церковная кафедра, на которую ему выделили три тысячи франков, грозила обойтись не меньше чем в десять тысяч. И он хотел обсудить это с монсеньором, чтобы оградить себя от неприятностей.

Роза ждала его обратно только к вечеру воскресенья. Он же внезапно появился днем, прямо посреди обеда, и его появление вызвало настоящий переполох. Гаспарина сидела за столом, между Октавом и Анжель. Все притворились, будто ему рады, однако в воздухе витало что-то загадочное. По испуганному знаку хозяйки Лиза захлопнула дверь гостиной, а кухня стала заталкивать ногой под стол какие-то обрывки. Когда Кампардон захотел переодеться, его остановили:

– Погодите же. Выпейте хотя бы чашку кофе, раз уж вы пообедали в Эврё.

Наконец он обратил внимание на смятение Розы, и та бросилась ему на шею:

– Ах, друг мой, только не брани меня!.. Если бы ты сегодня вернулся к вечеру, все было бы уже в порядке.

И, трепеща, распахнула двери в гостиную, а затем в кабинет. На месте чертежного стола архитектора стояла кровать красного дерева, доставленная нынче утром мебельщиком. А стол передвинули в центр соседней комнаты; однако там еще царил полный хаос: эскизы и папки лежали вперемешку с одеждой Гаспарины, изображение Девы Марии с пылающим сердцем прислонили к стене, увенчав новым тазиком.

– Мы хотели сделать тебе сюрприз, – лепетала госпожа Кампардон в полном смятении, пряча лицо в жилетке супруга.

Архитектор молчал, растерянно озирая эту картину и стараясь не встречаться взглядом с Октавом. Тогда Гаспарина сухо спросила его:

– Кузен, вам это неприятно?.. Это Роза заставила меня. Но если вы полагаете, что я здесь лишняя, мне еще не поздно и уйти.

– Ах, милая кузина! – вскричал наконец архитектор. – Все, что делает Роза, всегда превосходно!

И тут супруга разразилась рыданиями у него на груди.

– Ну-ну, кошечка моя, что же ты плачешь, глупенькая?! Я очень доволен. Ты хотела, чтобы твоя кузина была рядом с тобой, – вот и прекрасно, пускай она живет рядом с тобой! А я ничего не имею против... Перестань же плакать! Вот смотри, я обнимаю тебя так же крепко, как люблю!

И он осыпал жену поцелуями. В таких случаях Роза, которой довольно было одного слова, чтобы расплакаться, тут же осушала слезы и успокаивалась. Вот и сейчас она в свой черед поцеловала мужа в бороду и шепнула ему:

– Ты был так суров. Поцелуй же ее теперь.

Кампардон поцеловал Гаспарину. Позвали Анжель, которая, разинув рот, во все глаза смотрела на эту сцену из столовой; ей также велели поцеловать кузину. Октав стоял в сторонке, находя, что в этой семье все чересчур уж ласковы друг к другу. Он с удивлением заметил, что Лиза относится к Гаспарине предупредительно, с почтением. Вот уж кому не откажешь в хитрости, так этой потаскухе с темными кругами под глазами.

Тем временем архитектор, засучив рукава и весело насвистывая, а то и напевая, как веселый мальчишка, занялся устройством комнаты Гаспарины. Та помогала ему – двигала мебель, раскладывала белье, перетряхивала одежду, а Роза, сидя в кресле из боязни переутомиться, давала им советы: куда поставить туалетный столик, куда – кровать, чтобы всем было удобно. Наконец Октав понял, что мешает их суете; он чувствовал себя лишним в этом столь дружном семействе и потому объявил, что нынче ужинает в городе. Он решил на завтра же поблагодарить госпожу Кампардон за ее любезное гостеприимство и больше не столоваться здесь, придумав какую-нибудь отговорку.

Часам к пяти дня, не зная, где ему разыскать Трюбло, Октав решил поужинать у Пишоннов, чтобы не проводить вечер в одиночестве. Однако, войдя к ним, он застал бурный семейный скандал. Старики Вюйомы были вне себя от возмущения.

– Это просто непристойно! – кричала мать, стоя и гневно тыча пальцем в зятя, понуро сидевшего на стуле. – Вы же давали мне честное слово!

– А ты куда смотрела? – вторил ей отец, обращаясь к дочери, которая, вся дрожа, забилась в угол, возле буфета... – Вы что, хотите умереть с голоду?

Госпожа Вюйом надела шляпу, накинула шаль и торжественно провозгласила:

– Прощайте!.. Мы не станем поощрять ваш разврат своим присутствием. Раз уж вы пренебрегаете нашими советами, нам тут больше делать нечего... Прощайте! – И, заметив, что зять по привычке встает, собираясь их проводить, сказала, как отрезала: – Не трудитесь, мы дойдем до омнибуса без вашей помощи... Проходите вперед, господин Вюйом. Пусть они едят свой ужин, и пусть он пойдет им на пользу – скоро им нечего будет есть!

Пораженный Октав попятился, пропуская стариков. Когда те ушли, он взглянул на поникшего Жюля и смертельно бледную Мари возле буфета. Оба молчали.

– Что тут стряслось? – спросил он.

Однако молодая женщина не ответила, она начала плаксиво упрекать мужа:

– Я тебя предупреждала. Ты должен был подготовить их, сообщить как-нибудь помягче. Никакой срочности не было, ведь это еще незаметно.

– Да что у вас случилось? – повторил Октав.

И Мари вне себя, даже не обернувшись к нему, резко сказала:

– Я беременна.

– Но с чего они так взбесились? – закричал Жюль, в порыве негодования вскочив со стула. – Я-то думал, что будет честнее сразу сообщить им об этой беде... Неужто они думают, что мне это приятно?! Я поражен не меньше их! Тем более что это, черт возьми, не моя вина... ну скажи сама, Мари, как это могло случиться, откуда он взялся, этот ребенок?!

– Да я и сама не понимаю, – отвечала его жена.



Октав произвел мысленный подсчет. Она беременна уже пять месяцев, с конца декабря до конца мая; да, все сходилось. Он было растрогался, потом предпочел усомниться, однако умиление перевесило, и ему безумно захотелось чем-нибудь порадовать Пишонов. Тем временем Жюль продолжал причитать: деваться некуда, придется им его растить, этого младенца, хотя лучше бы он остался там, где сейчас. Что касается Мари, то она, обычно такая кроткая, сейчас сердито возражала мужу и в конце концов начала оправдывать свою мать, которая

никогда не прощала ей непослушания. Постепенно супруги распалялись, обвиняя друг друга в появлении будущего ребенка, но тут их весело прервал Октав:

– Послушайте, раз уж он есть, тут ничего не поделаешь... Мне кажется, не стоит сегодня ужинать дома, это будет слишком грустно. Я приглашаю вас в ресторан, идет?

Молодая женщина зарделась от радости: ужин в ресторане был ее заветной мечтой. Но она заговорила о дочке, которая постоянно мешала ее развлечениям. Однако на сей раз было решено взять Лилит с собой. И вечер прошел чудесно. Октав повел супругов в ресторан «Модный антрекот» в отдельный кабинет – «чтобы чувствовать себя вольготней», по его выражению. И стал потчевать их вкусной едой, заказывая блюдо за блюдом, с щедростью, вызванной сознанием своей вины, не заботясь о счете и радостно наблюдая за тем, как они смакууют угощение. Более того, за десертом, когда Лилит уложили спать на диван, между подушками, он заказал шампанское, и теперь они, все трое, сидели с влажными глазами, поставив локти на стол, в приятном забытии, разморенные душной жарой кабинета. Наконец часов в одиннадцать было решено возвращаться домой, но они так разгорячились, что холодный воздух улицы одурманил их еще больше. Вдобавок малышка, засыпавшая на ходу, не захотела идти пешком. И Октав, решивший быть щедрым до конца, нанял фиакр, хотя до улицы Шуазель было рукой подать. Сидя в экипаже напротив Мари, он постеснялся сжать между коленями ее ноги. И, только поднявшись в их квартиру, когда Жюль пошел укладывать Лилит, Октав коснулся поцелуем лба молодой женщины – прощальным поцелуем отца, вручающего свою дочь зятю.

Затем, увидев, как супруги, охмелевшие вконец, влюбленно переглядываются, Октав отвел их в спальню, а сам вышел из квартиры, пожелав сквозь закрытую дверь доброй ночи и много приятных сновидений.

«Черт возьми, – думал он, укладываясь в свою одинокую постель, – мне этот кутеж обошелся в пятьдесят франков, но они с лихвой их заслужили... В конце концов, я желаю только одного: пускай муж сделает эту крошку счастливой!»

И перед тем как заснуть, Октав, растроганный собственным благородством, твердо решил завтра же вечером пойти на решающий приступ.

Каждый понедельник, по вечерам, Октав помогал госпоже Эдуэн подводить итоги истекшей недели. Для этой процедуры они уединялись в кабинете на задах магазина, в узкой комнате, где только и было что касса, письменный стол, пара стульев и диванчик. Однако именно в этот понедельник супруги Дюверье пригласили госпожу Эдуэн в «Опера Комик». Поэтому она вызвала к себе Октава в три часа пополудни. Несмотря на ясный солнечный день, им пришлось зажечь газовый рожок, так как в кабинете, выходявшем во внутренний двор, стоял полумрак. Когда Октав закрыл дверь на задвижку, госпожа Эдуэн удивленно взглянула на него.

– Так нас никто не побеспокоит, – шепнул он.

Она кивнула, и они взялись за работу. Покупатели бойко расхватывали летние новинки, прибыль магазина непрерывно возрастала, трикотажные товары шли на этой неделе так хорошо, что мадам Эдуэн сказала с огорченным вздохом:

– Ах, если бы у нас было попросторнее!

– Но это целиком зависит от вас! – воскликнул Октав, начиная атаку. – У меня возник один замысел, который я хотел бы обсудить с вами.

Молодой человек давно уже обдумывал этот дерзкий план. Он состоял в следующем: нужно купить соседний дом на улице Нёв-Сент-Огюстен, выселить оттуда торговца зонтиками и продавца игрушек, а затем, расширив магазин, создать в нем новые, просторные отделы. Октав вдохновенно излагал свой проект, презрительно порицая старозаветные устои торговли в темных, затхлых недрах лавок без витрин и восхваляя новую, современную коммерцию, предлагающую женщине ослепительную роскошь товаров в хрустальных дворцах, где днем ворочают миллионами, а по вечерам зажигают иллюминацию, яркую, точно на пышных торжествах.

– Как только вы покончите со старыми лавками этого квартала, – говорил он, – вы привлечете к себе массу розничных покупателей. И вот пример: магазин шелковых тканей Вабра нынче составляет вам конкуренцию; так устройте же широкие витрины, выходящие на улицу, создайте специальный отдел шелков, и лет через пять вы подведете этого господина к банкротству... Кроме того, муниципалитет как будто намерен проложить улицу – ее уже называют улицей Десятого Декабря, – которая должна соединить Новую Оперу с Биржей. Мой друг Кампардон как-то рассказывал мне об этом. Такое новшество позволит вдесятеро расширить коммерческую деятельность нашего квартала.



Госпожа Эдуэн, облокотясь на бухгалтерскую книгу и подперев рукой красивую голову, внимательно слушала его. Она родилась в «Дамском Счастье», любила эту фирму, основанную ее отцом и дядей, и теперь ясно представляла себе, как ее магазин расширяется, поглощая

соседние здания; это видение тешило ее живую фантазию, непреклонную волю и безошибочную интуицию женщины, мечтающей о новом Париже.

– Дядя Делёз никогда не согласится на это, – прошептала она. – Кроме того, мой муж серьезно болен.

И тут, заметив, что она колеблется, Октав заговорил своим голосом обольстителя, бархатным, певучим голосом актера... При этом он гипнотизировал ее взглядом, своими глазами цвета старого золота, которые женщины находили неотразимыми. Однако газовый рожок, горевший за спиной госпожи Эдуэн, тщетно согревал воздух – ее кожа оставалась все такой же прохладной, хотя она и позволила себе помечтать в неиссякающем потоке слов молодого человека. А тот утверждал, что изучил дела магазина с точки зрения прибыльности и даже составил уже приблизительную смету на будущее; все это он излагал вдохновенным тоном романтического пажа, признающего в долго скрываемой любви. И зачарованная госпожа Эдуэн пришла в себя лишь в тот миг, когда очутилась в объятиях Октава. Он подталкивал ее к дивану, в полной уверенности, что она готова ему уступить.

– Господи, так вот вы ради чего... – с легкой печалью промолвила она, отстраняя его, словно расшалившегося ребенка.

– Да, да, ради этого! Я люблю вас! – вскричал Октав. – Умоляю, не отталкивайте меня. С вашей помощью я совершу переворот в торговле...

И он выдал до конца заготовленную длинную тираду, звучавшую так фальшиво. Госпожа Эдуэн не прерывала его, она слушала, стоя и снова перелистывая конторскую книгу. Потом, когда Октав смолк, ответила:

– Я все знаю, мне уже это говорили... Но я думала, что вы умнее прочих, господин Октав. И вы меня огорчили, в самом деле огорчили – я ведь полагалась на вас. А впрочем, молодым людям всегда не хватает здравого смысла... В таком магазине, как наш, нужен порядок, идеальный порядок, а вы стремитесь к переменам, которые все поставят с ног на голову. Здесь я не женщина, для этого у меня слишком много дел... ну подумайте сами: вы ведь такой здравомыслящий человек, как же вы не поняли, что я никогда не пойду на это, – во-первых, потому, что это глупо, во-вторых, бесполезно, а главное, у меня, к счастью, нет никакого желания.

Октав предпочел бы, чтобы она возмутилась, разгневалась, заговорила о высоких чувствах. Но ее бесстрастный голос, спокойная рассудительность практичной, уверенной в себе женщины привели его в полную растерянность. Он почувствовал себя смешным.

– Мадам, жальтесь надо мной, – пролепетал он, все еще на что-то надеясь. – Вы не представляете, как я страдаю.

– О нет, вы не страдаете. И уж во всяком случае, скоро оправитесь... Однако там стучат, вам лучше отпереть дверь.

Октаву поневоле пришлось отодвинуть засов. В коридоре стояла мадемуазель Гаспарина – она пришла узнать, ожидаются ли сорочки с прошивками. Запертая дверь ее крайне удивила. Но она слишком хорошо изучила госпожу Эдуэн и, увидев ледяное лицо хозяйки и убитое – Октава, чуть заметно усмехнулась, глядя на него. Это привело его в ярость, он счел ее виноватой в своем фиаско. И когда Гаспарина ушла, внезапно объявил:

– Мадам, я нынче же вечером покидаю ваш магазин.

Это явилось полной неожиданностью для госпожи Эдуэн; она изумленно взглянула на него:

– Но почему же? Я ведь вас не увольняю... И то, что случилось, ровно ничего не значит, я не боюсь.

Эти слова окончательно взбесили Октава. Нет, он уйдет сейчас же, он не желает длить свои мучения ни минуты больше!

– Ну как угодно, господин Октав, – ответила она, как всегда невозмутимо. – Я сейчас же выплачу вам жалование... В любом случае компания будет сожалеть о вашем уходе – вы работали прекрасно.

Выйдя на улицу, Октав понял, что вел себя как последний дурак. Пробило четыре часа, приветливое весеннее солнце золотило угол здания на площади Гайон. Октав шел по улице Сен-Рош куда глаза глядят, злясь на самого себя и мысленно прикидывая, как ему следовало бы действовать. Во-первых, почему он не попробовал переспать с этой Гаспариной? Она наверняка была бы не против; впрочем, ему, в отличие от Кампардона, не нравились такие скелетины, да и вряд ли он добился бы успеха: эта девица явно принадлежала к числу тех, кто сурово отваживает случайных любовников – что называется, на одно воскресенье, – когда у них есть постоянные, с понедельника по субботу. Далее: что за дурацкая мысль – стать любовником хозяйки! В магазине следовало зарабатывать деньги, а не требовать все разом – и хлеб и постель! В какой-то миг Октав, подавленный вконец, решил было повернуть обратно, прийти в «Дамское Счастье» и покаяться перед хозяйкой. Однако мысль о госпоже Эдуэн, такой неприступной и невозмутимой, разбудила в нем оскорбленную гордость, и он пошел дальше по улице Сен-Рош. Что сделано, то сделано, тем хуже! Он решил посмотреть, нет ли в церкви Кампардона, чтобы посидеть вместе с ним в кафе за рюмкой мадеры. Это отвлечет его от грустных мыслей.

Октав прошел через вестибюль к коридору, ведущему в ризницу, темному и грязному, как в притоне. Здесь он остановился в нерешительности, пристально оглядывая неф, как вдруг услышал чей-то голос:

– Вы, верно, ищете господина Кампардона?

Это был аббат Модюи, узнавший его. Архитектор сегодня отсутствовал, но аббат твердо решил показать молодому человеку, как реставрируют капеллу Голгофы, – эти работы чрезвычайно интересовали его самого. Он провел гостя за хоры и первым делом продемонстрировал ему капеллу Святой Девы, со стенами, облицованными белым мрамором, и алтарем, над которым возвышалась скульптурная группа в стиле рококо: младенец Иисус между святым Иосифом и Богородицей; далее, в глубине нефа, они прошли мимо капеллы Поклонения волхвов, где горели семь светильников в золотых канделябрах и стоял золотой алтарь, мерцавший в желтоватом полусвете, который создавали раззолоченные витражи. Однако дощатые перегородки слева и справа закрывали проход к апсиде, а трепетное безмолвие над черными, коленопреклоненными тенями, бормочущими молитвы, грубо нарушали удары кирки и голоса каменщиков, сливавшиеся в бесцеремонный грохот стройки.

– Проходите же, – сказал аббат Модюи, подбирая полы сутаны. – Я сейчас вам все объясню.

По другую сторону перегородки высились кучи сбитой штукатурки; вскрытый угол церкви, белый от строительной пыли и мокрый от разлитой воды, смотрел на улицу. Слева была еще видна Десятая станция (Иисус, распятый на кресте), а справа – Двенадцатая (Святые жены вокруг креста с распятым Иисусом). Однако группа промежуточной, Одиннадцатой станции (Иисус, умирающий на кресте) была снята и прислонена к стене – над ней-то сейчас и трудились рабочие.

– Вот, представьте себе, – продолжал священник. – У меня появилась мысль осветить центральную группу Распятия лучом естественного света, падающим сверху, из отверстия в куполе... Вы понимаете, какой эффект это произведет?

– Да-да, – прошептал Октав; эта экскурсия по разоренной церкви, среди строительного мусора, отвлекала от собственных тяжелых раздумий.

Аббат Модюи, с его звучным голосом, выглядел сейчас руководителем рабочих сцены, распоряжавшимся установкой какой-то главной декорации.

– И естественно, здесь требуется идеальная, суровая простота – одни только каменные стены, никакой росписи, ни одного золотого мазка. Нужно, чтобы это походило на крипту, на что-то вроде мрачного подземелья... И вот тут самое сильное впечатление произведет фигура Христа на кресте, а у его ног – Богоматерь и Мария Магдалина. Я помешу распятие на вершине утеса, а белые фигуры скорбящих – внизу, на сером фоне; и тогда этот мой свет из отверстия в куполе озарит их, словно невидимый луч, словно животворное сияние, и фигуры выступят из полумрака, приобщенные этим божественным светом к жизни вечной... Вы увидите это, увидите! – И, обернувшись, аббат крикнул одному из рабочих: – Да уберите же оттуда Деву Марию, а то, не дай бог, сломаете ей ногу!

Рабочий подозвал напарника. Вдвоем они обхватили статую Девы Марии, подняли и потащили в сторонку, словно рослую белую девицу, упавшую в обморок.

– Поаккуратнее! – кричал аббат, пробираясь следом за ними через груды обломков, о которые уже порвал подол своей сутаны. – Ну-ка, погодите!

Он помог рабочим, подсунув руки под спину Марии, и отошел, весь перепачканный известковой пылью.

– Итак, – продолжал он, вернувшись к Октаву, – представьте себе, что две широкие двери нефа вон там, перед вами, распахнуты и вы можете пройти в капеллу Богоматери. А дальше, минуя алтарь и капеллу Поклонения волхвов, вы увидите в глубине сцену Распятия... Представляете, какое впечатление будут производить эти три огромные фигуры, эта драматическая сцена – простая и безыскусная, в глубине скинии, за пределами этого таинственного полумрака, вдали от витражей, ламп и золотых канделябров?! Ну, каково ваше мнение? Я полагаю, что это будет завораживающее зрелище, не правда ли!

Аббат разглагольствовал не умолкая, с радостным смехом, крайне гордый своим замыслом.

– Я думаю, что даже самые отъявленные безбожники и те будут потрясены, – сказал Октав, чтобы доставить ему удовольствие.

– Не правда ли! – вскричал тот. – Я жду не дождусь, когда все будет на своих местах.

Они вернулись в неф, но увлекшийся аббат и здесь продолжал рассуждать в полный голос, размахивая руками, точно подрядчик, и превознося Кампардона: вот уж кто, живи он в Средневековье, наверняка прославился бы как знаменитый мастер!

Он выпустил Октава через узенькую дверь в глубине церкви, но еще ненадолго задержал его во дворе дома священника, откуда была видна часть апсиды, полускрытой соседними строениями. Аббат жил здесь, на третьем этаже большого здания с облупленным фасадом, полностью отведенного клиру Святого Роха. Над входной дверью высилась статуя Богоматери, от высоких окон с плотными занавесями неуловимо веяло ладаном, а в безмолвии двора чудились неслышные шепотки исповедальни.

– Я зайду повидаться с господином Кампардоном нынче же вечером, – сказал аббат Модюи. – Попросите его дожждаться меня... Я хочу спокойно обсудить с ним одно усовершенствование.

И он распрощался с Октавом легким поклоном, как светский человек. Октав наконец пришел в себя: церковь Святого Роха, с ее обновленными сводами, помогла ему успокоиться. Он с любопытством оглядывал этот жилой дом – нечто вроде каморки привратника, который должен был ночью дернуть за шнур, чтобы впустить кого-то в обитель Господню; эдакий монастырь, затерянный в мрачных дебрях квартала. Стоя на тротуаре, он еще раз поднял голову, чтобы осмотреть здание: голый фасад с зарешеченными окнами; цветочные ящики на пятом этаже, в железных оградках; а в цокольном этаже убогие лавчонки, приносявшие кое-какую прибыль монахам, – они сдавали их часовщику, холодному сапожнику, вышивальщице и даже виноторговцу, к которому в дни похорон захаживали факельщики. Октав, подавленный своей неудачей в суровой мирской жизни, позавидовал безмятежному существованию старых слу-

жанок всех этих кюре, которые, верно, тихо-мирно поживали там, наверху, в каморках, благоухающих вербеной и душистым горошком.

Вечером, в половине седьмого, он вошел в квартиру Кампардонов, не позвонив, и наткнулся на архитектора и Гаспарину, страстно целовавшихся в передней. Кузина, которая только что вернулась из «Дамского Счастья», в спешке не заперла за собой входную дверь. Все трое застыли в изумлении.

– Моя жена еще причесывается, – пролепетал Кампардон, лишь бы что-нибудь сказать. – Пройдите к ней.

Октав, смущенный не меньше их, торопливо постучал в дверь Розы и вошел, не дожидаясь ответа, как близкий родственник. Нет, он решительно не мог продолжать столоваться здесь, теперь, когда застал их целующимися по углам.

– Войдите! – крикнула Роза. – А, это вы, Октав... Ничего-ничего, не смущайтесь.

При его появлении она даже не накинула пеньюар – так и сидела с обнаженными плечами и руками, сиявшими нежной, молочной белизной. Пристально глядя в зеркало, она завивала в мелкие локоны свои золотистые волосы. Роза ежедневно, часами сидела за туалетом, тщательно занимаясь своей внешностью, пристально разглядывая каждую родинку, прихорашиваясь, – и все лишь затем, чтобы потом раскинуться на диване в роскошном наряде как красивый бесполой идол.

– Вы сегодня выглядите еще прекраснее, чем обычно, – с улыбкой сказал Октав.

– Ах, боже мой, у меня только и есть что это занятие, – ответила она. – Оно хоть как-то развлекает... Вы же знаете, я никогда не интересовалась хозяйством, а уж теперь, когда Гаспарина живет у нас... По-моему, мне идут эти локоны. Когда я хорошо одета и чувствую себя красивой, меня это немного утешает.

Узнав, что ужин еще не готов, Октав рассказал о своем уходе из «Дамского Счастья», а затем выдуманную историю о работе в другом месте, которой якобы давно дожидался, – это послужило ему предлогом к тому, чтобы отказаться от обедов и ужинов у Кампардонов.

Роза удивилась: зачем уходить из магазина, где его ждала хорошая карьера? Впрочем, она была так занята созерцанием себя в зеркале, что почти не слушала его.

– Посмотрите-ка на это красное пятнышко, вон там, за ухом... – попросила она. – Неужели это прыщик?

Октаву пришлось оглядеть ее затылок, который она показала ему с невозмутимым спокойствием женщины, надежно огражденной от низких помыслов.

– Да нет там ничего, – ответил он. – Вы, верно, слишком сильно растерли это место, когда умывались.

Он помог ей надеть голубой шелковый пеньюар, расшитый серебристыми узорами и приготовленный для сегодняшнего вечера, после чего они прошли в столовую. Едва подали суп, как речь зашла об уходе Октава из магазина Эдуэнов. Кампардон заахал, а Гаспарина сидела со своей всегдашней, чуть заметной усмешкой; в остальном эти двое обращались друг с другом непринужденно, как всегда. Октав был даже тронут заботой, которой они оба окружали Розу. Кампардон наливал ей вина, Гаспарина выбирала лучшие куски жаркого. Нравится ли ей хлеб? – ведь они сменили булочника. Не подложить ли ей подушку под спину? И Роза, преисполненная благодарности, умоляла их не беспокоиться о ней. Она величественно восседала за столом в своем роскошном пеньюаре с кружевами, обрамлявшими нежный бюст красивой блондинки, и ела с отменным аппетитом, в отличие от понурого, осунувшегося мужа и кузины – тощей, чернявой, с костлявыми плечами под темным платьем, с телом, иссушенным страстью.

За десертом Гаспарина строго отчитала Лизу, которая надерзила хозяйке дома из-за пропавшего куска сыра. Служанка виновато оправдывалась. Гаспарина уже полностью распорядилась хозяйством в доме и командовала служанками; одного ее слова было достаточно, чтобы

повергнуть в дрожь саму Викторию с ее кастрюлями. Благодарная Роза одарила ее растроганным взглядом; с тех пор как Гаспарина водворилась в их доме, служанки начали уважать свою госпожу, и теперь она мечтала только об одном: заставить кухню покинуть «Дамское Счастье», по примеру Октава, и поручить ей воспитание Анжель.



– Ну посудите сами, – вкрадчиво сказала она, – здесь, в доме, столько всяких дел... Анжель, попроси хорошенько кухню, скажи ей, как это будет тебе приятно!

И девочка стала умолять кухню заняться ею, а Лиза, слушая ее, кивала. Однако и Кампардон, и Гаспарина не одобрили эту затею: нет-нет, нужно подождать, нельзя вот так взять да бросить магазин, остаться без заработка.

Отныне вечера в гостиной проходили чудесно. Кампардон уже не думал покидать дом. Как раз нынче вечером он взялся развешивать в комнате Гаспарины гравюры, полученные из багетной мастерской, – «Миньона, воздыхающая о небесах», «Вид на источник в Воклюзе» и прочие. Архитектор веселился вовсю; этот толстяк с рыжеватой взлохмаченной бородой, покрасневший от обильной еды, был счастлив, как человек, удовлетворивший все свои желания. Он попросил кухню посветить ему, и все услышали, как он взбирается на стул и вбивает гвозди в стену. А Октав, оставшийся наедине с Розой, вернулся к своей истории и объявил ей, что с конца месяца будет вынужден обедать и ужинать на стороне. Она как будто удивилась,

но видно было, что думает о другом, и сразу заговорила о муже и о кузине, прислушиваясь к их смеху:

– Надо же, как им весело развешивать эти картинки!.. Знаете, Ашиль стал таким домо-сedom: вот уже две недели, как он не бросает меня одну по вечерам, и больше никаких кафе, никаких совещаний и деловых встреч, а ведь вы помните, как я беспокоилась, когда он возвращался домой за полночь!.. Ах, какое это великое облегчение для меня! Я хотя бы чаще вижу его!

– Да-да, конечно, разумеется, – пробормотал Октав.



Потом Роза заговорила о том, как экономно ведется у них хозяйство с недавних пор. Все, буквально все в доме нынче идет на лад, тут смеются с утра до вечера.

– А когда я вижу, что Ашиль доволен, – продолжала она, – мне больше нечего и желать. Затем она все же вернулась к делам молодого человека:

– Да, так неужто вы и вправду нас покидаете?.. О, останьтесь, прошу вас; теперь мы все будем счастливы!

Но Октав снова начал объяснять положение вещей. Наконец Роза как будто вникла в его резоны и опустила глаза: в самом деле, сейчас, когда их семья увеличилась, молодой человек становился лишним, и она испытала облегчение при мысли о его уходе – ведь он уже не будет

нужен, чтобы развлекать ее по вечерам. Однако Роза заставила его пообещать, что он будет часто приходить повидаться с ней.

– Готово! Миньона уже в небесах! – раздался ликующий возглас Кампардона. – Погодите, кузина, я помогу вам спуститься.

Было слышно, как он снимает ее со стула и где-то ставит. Наступила пауза, вслед за чем прозвучал легкий смешок. Впрочем, архитектор тут же вернулся в гостиную и подставил жене разгоряченную щеку:

– Ну с этим покончено, моя курочка... Поцелуй-ка своего зайчика, он хорошо поработал!

Гаспарина вошла с вышиванием и села подле лампы. А Кампардон с шутками и прибаутками начал вырезать орден Почетного легиона, отпечатанный на какой-то этикетке, и залился багровым румянцем, когда Роза решила пришить булавкой ему на грудь эту картонную награду, – в доме из этого делали тайну, но кто-то пообещал Кампардону этот орден. Анжель, сидевшая по другую сторону от лампы, заучивала главу из Закона Божьего, изредка поднимая голову и оглядывая взрослых с загадочным видом хорошо воспитанной девицы, приученной молчать и скрывать от взрослых свои истинные мысли. Это был благодный вечер, патриархальный семейный очаг, где нынче царило тихое счастье.

И вдруг архитектор вздрогнул от возмущения. Он заметил, что дочь читает не Библию, а забытую на столе «Газетт де Франс».

– Анжель, чем ты занимаешься? – спросил он строго. – Нынче утром я зачеркнул красным карандашом одну статью. А ты прекрасно знаешь, что не должна читать зачеркнутые статьи.

– Папа, но я читала совсем другую, рядом с той, – возразила девочка.

Тем не менее отец забрал у нее газету, вполголоса сетуя Октаву на развращенность нынешней прессы. Вот, например, сегодняшняя номер – в нем описано жуткое преступление. Если порядочные семьи уже не могут спокойно читать «Газетт де Франс», то на какую же прессу им подписываться?! И он возмущенно воздел глаза к небу, но тут вошедшая Лиза доложила о приходе аббата Модюи.

– Ох, я и забыл, – спохватился Октав, – он же просил меня предупредить вас о своем визите.

Аббат вошел улыбаясь. Поскольку архитектор не успел снять с груди свой картонный орден, он ужасно смутился, заметив эту улыбку. Дело в том, что именно аббат и хлопотал об этой награде для Кампардона, который до поры до времени скрывал ото всех его имя.

– Это все мои дамы... такие забавницы! – пролепетал Кампардон.

– Нет-нет, оставьте эту награду на месте, – добродушно ответил священник. – Она там хорошо смотрится, а мы попозже заменим ее на другую, настоящую.

После чего заботливо расспросил Розу о здоровье и горячо одобрил Гаспарину за то, что та прибилась к своей родне. Одиноким девицам в Париже грозит столько опасностей! Он говорил это с медоточивостью доброго духовного наставника, хотя прекрасно знал истинное положение вещей. Потом он завел разговор о работах в церкви и предложил одно удачное изменение в плане ремонта. Казалось, он явился, чтобы благословить счастливое воссоединение родственников и выправить таким образом двусмысленную ситуацию, о которой, верно, уже судачили в их квартале. Архитектор, реставрирующий Голгофу, обязан иметь безупречную репутацию в глазах порядочных людей.



Что касается Октава, то он, воспользовавшись приходом аббата Модюи, пожелал Кампардонам спокойной ночи и вышел. Проходя через переднюю, он услышал в темной столовой голос Анжель, которая также сбежала из гостиной.

– Значит, она зря на тебя кричала? – спросила она Лизу.

– Да ясное дело, что зря! – отвечала служанка. – Она же злобная, как цепной пес! Вы ж сами видели, барышня, как она меня за обедом осадила... Но мне плевать на нее! Перед такой злыдней нужно притворяться послушной смиренницей, а уж за дверью над ней можно и посмеяться вволю!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.